

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА I



Мы не можем и не должны описывать всех подробностей Отечественной войны 1812 года. Роман не история. Но порядок нашего повествования требует, чтоб мы, хотя в коротких словах рассказали, что делалось в России до того времени, когда нам можно будет вывести снова на сцену и заставить говорить действующие лица этой повести. Всем известно, как Наполеон оставил Москву; но не все еще уверены, что он

поневоле должен был отступить по Смоленской дороге. Что ж могло заставить Наполеона идти назад, через места, совершенно опустошенные войною, и, следовательно, уморить, наверное, голодной смертью свое войско? Что?.. Все, что вам угодно. Наполеон сделал это по упрямству, по незнанию, даже по глупости — только непременно по собственной своей воле: ибо, в противном случае, надобно сознаться, что русские били французов и что под Малым Ярославцем не мы, а они были разбиты; а как согласиться в этом, когда французские бюллетени говорят совершенно противное? Но если мы никогда не били неприятеля, то отчего же погибла вся армия Наполеона? И, боже мой!.. а мороз-то на что? Так говорит сам Наполеон, так говорят почти все французские писатели; а есть люди (мы не скажем, к какой они принадлежат нации), которые полагают, что французские писатели всегда говорят правду — даже и тогда, когда уверяют, что в России нет соловьев; но есть зато фрукт величиною с вишню, который называется арбузом; что русские происходят от татар, а венгерцы от славян; что Кавказские горы отделяют Европейскую Россию от Азиатской; что у нас знатных людей обыкновенно венчают архиереи; что ниema глебониш пописко рюскоф — самая употребительная фраза на чистом русском языке; что название славян происходит от французского слова *esclaves* (рабы.) и что, наконец, в 1812 году французы били русских, когда шли вперед, били их же, когда бежали назад; били под Москвою, под Тарутиным, под Красным, под Малым Ярославцем, под Полоцком, под Борисовым и даже под Вильною, то есть тогда уже, когда некому нас было бить, если б мы и сами этого хотели. Итак, не вступая по сему предмету ни в какие споры с людьми, которые стоят в том,

Что всякой логике сильнее Француза милого слова! —

мы скажем только, что неприятель оставил Москву 10 октября, прогостив в ней месяц и восемь дней. Наполеон, прощаясь навсегда с древней столицей России, велел подорвать Кремль. Это варварское, достойное средних времен приказание было выполнено. В военном отношении Московский Кремль нельзя назвать не только крепостью, но даже простым укрепленным лагерем; следовательно, разорение его не могло ни в каком случае быть полезным для французов; а разорять что бы то ни было, без всякой пользы и для себя и для других, свойственно только варварам и сумасшедшим. Мы представляем безусловным обожателям Наполеона оправдать чем-нибудь этот вандальский поступок; вероятно, они откроют какие-нибудь гениальные причины, побудившие императора французов к сему безумному и детскому мщению; и трудно ли этим господам доказать такую безделку, когда они математически доказывают, что Наполеон был не только величайшим военным гением, в чем, никто с ними и не спорит, но что он в то же время мог служить образцом всех гражданских и семейственных добродетелей, то есть: что он был добр, справедлив и даже... чувствителен!!!

Сделав несколько неудачных попыток, чтобы прорваться в богатейшие провинции России, расстроенный, сбитый с толку знаменитым фланговым маршем нашего бессмертного князя Смоленского, Наполеон должен был поневоле отступить по той же самой дороге, по которой шел к Москве.

Мы не станем исчислять: всех неизъяснимых бедствий, постигших французов во время сего губительного отступления. И какое перо опишет это быстрое и вместе медленное истребление нескольких сот тысяч воинов, привыкших побеждать или умирать с оружием в руках на поле чести, но незнакомых еще с ужасами беспорядочного отступления? Какое описание может дать хотя слабое понятие о целых тысячах людей полузамерзших, не имеющих человеческого образа, готовых пожирать друг друга? Нет! надобно было слышать эти дикие вопли, этот отвратительный, охрипый вой людей, умирающих от голода; надобно было видеть этот безумный, неподвижный взор какого-нибудь старого солдата, который, сидя на груде умерших товарищей, воображал, что он в Париже, и разговаривал вслух с детьми своими. Надобно было все это видеть и привыкнуть смотреть на это, чтоб постигнуть наконец, с каким отвращением слушает похвалы доброму сердцу и чувствительности императора французов тот, кто был свидетелем сих ужасных бедствий и знает адское восклицание Наполеона: «солдаты?.. и, полноте! поговоримте-ка лучше о лошадях!» (Так отвечал Наполеон одному из генералов, который стал ему докладывать о бедственном положении его солдат. Может быть, этот анекдот несправедлив; но, прочтя со вниманием всю политическую и военную жизнь Наполеона, как не скажешь *si non e*

vero e ben trovato <если неверно, то хорошо придумано (ит.)>. — Прим. Автора). — Переправа через Березину завершила гибель неприятеля: сам Наполеон едва успел спастись, но зато последняя надежда французской армии, корпус Нея, был совершенно разбит. После сражения под Борисовым отступление французов превратилось в настоящее бегство. Целые колонны, побросав оружие, спешили спастись от холодной смерти и казаков куда ни попало. Наши войска почти без всякого сопротивления заняли Вильну, и вскоре потом исполнились слова русского государя: ни одного вооруженного врага не осталось в пределах его царства. Но он не положил меча, а поднял его снова для спасения народов всей Европы. Наполеон, без войска, один, пробираясь беглецом во Францию, все еще был владыкою всей Германии. Наши летучие отряды, преследуя, остатки бегущего неприятеля, перешли за границу. Их присутствие оживотворило все сердца; храбрые пруссаки восстали первые, и когда спустя несколько месяцев надменный завоеватель, с мстью в сердце, с угрозой на устах, предводительствуя новым войском, явился опять на берегах Эльбы, то тщетно уже искал рабов, покорных его воле: везде встречали его грудью свободные сыны Германии, их радостные восклицания и наши волжские песни гремели там, где некогда раздавались победные крики его войска и вопли угнетенных народов.

Генерал, при котором служил Рославлев, перейдя за границу, присоединился с своей дивизиею к войскам, назначенным для осады Данцига, а полк Зарецкого остался по-прежнему в авангарде русской большой армии. С большим горем простились наши друзья.

— Послушай, Владимир! — сказал Зарецкой, обнимая в последний раз Рославлева, — говорят, что в Данциге тысяч тридцать гарнизона, а что всего хуже — этим гарнизоном командует молодец Рапп, так вы не скоро добьетесь толку и простояте долго на одном месте. Я буду к тебе писать, а ты не беспокойся. По всему видно, что наша большая армия не будет отдыхать на лаврах, а отправится прямой дорогой... Ах, братец! то-то бы славно, визит за визит! Какое бы письмо я написал тебе из Парижа! Ну прощай, мой друг! да смотри — не хандри; сделайся по-прежнему нашим братом весельчаком, влюбись в какую-нибудь немецкую Шарлотту, так авось русская Полина выдет у тебя из головы.

— Несчастная! — сказал Рославлев, — где она теперь?

— Где? Если осталась в Москве, то, вероятно, жива, если же, на беду, потащилась за своим мужем...

— О, без всякого сомнения! Ты не знаешь, к чему способна эта необыкновенная женщина: она скорей рассталась бы с своим мужем, если б он был счастлив. Всем пожертвовать тому, кого она любит, делить его страдания, умереть вместе с ним мучительной смертью,

одним словом: все то, что для другой женщины было бы высочайшей степенью самоотвержения, — так обыкновенно, так легко для Поливы! Если ей удастся облегчить хотя на минуту мучения своего друга, то она станет благословлять судьбу — благодарить бога за все свои страдания! Ах, мои друг! для чего не суждено ей было принадлежать мне? — Полно, братец! перестань об этом думать. Конечно, жаль, что этот француз приглянулся ей больше тебя, да ведь этому помочь нельзя, так о чем же хлопотать? Прощай, Рославлев! Жди от меня писем; да, в самом деле, поторопись влюбиться в какую-нибудь немку. Говорят, они все пресантиментальные, и если у тебя не пройдет охота вздыхать, так, по крайней мере, будет кому поплакать вместе с тобою. Ну, до свиданья, Владимир!

Начиная снова нашу повесть, доведенную нами до перехода русских за границу, мы должны предупредить читателей, что действие происходит уже в ноябре месяце 1813 года, под стенами Данцига, осажденного русским войском, в помощь которому прикомандировано было несколько батальонов прусского ландвера, или ополчения.

ГЛАВА II

Немцы называют Нерунгом узкую полосу земли, которая, идя от самого Данцига, вдается длинным мысом в залив Балтийского моря, известный в Германии под названием Фриш-Гафа. Этот клочок земли, окруженный с трех сторон морем и покрытый зеленеющими садами, посреди которых мелькают красивые деревенские усадьбы, походит с первого взгляда на узорчатую ленту, которая, как будто бы опоясывая весь залив и становясь час от часу бледнее, исчезает наконец из глаз, сливаясь вдали с туманным горизонтом, на краю которого белеются высокие колокольни прусского городка Пилау. Небольшой артиллерийской парк и отряд русского войска, состоящий из одной сильной пехотной роты, расположены были на этом мысе в деревеньке, окруженной со всех сторон садами. Находясь позади всех наших линий и верстах в пяти от траншей, коими обхвачены были все передовые укрепления неприятельские, сей резервный отряд смотрел за тем, чтоб деревенские жители не провозили морем в осажденный город съестных припасов, в которых гарнизон давно уже нуждался.

В просторном доме одного богатого ландсмана (зажиточный крестьянин, имеющий собственную землю. — Прим. автора.), посреди светлой комнаты, украшенной необходимыми для каждого зажиточного крестьянина старинными стенными часам, широкою резною кроватью и огромным сундуком из орехового дерева, сидели за наложенным дубовым столом, составляющим также часть наследственной мебели, артиллерийской поручик Ленской, приехавший навестить его уланской ротмистр

Сборской и старый наш знакомец, командир пехотной роты капитан Зарядьев. Перед ними в нескольких красивых фаянсовых блюдах поставлен был весьма опрятно и разнообразно приготовленный картофель. Огромная кружка с пивом и высокие стеклянные стаканы занимали остальную часть стола.

— Не угодно ли покушать? — сказал, улыбаясь, Сборской, подвигая к Ленскому новое блюдо, которое хозяйка дома с вежливою улыбкою поставила на стол.

— Тьфу, пропасть! — вскричал с досадою Ленской. — Вареный картофель, печеный картофель! жареный картофель!.. Да будет ли конец этому проклятому картофелю?

— А тебе бы хотелось так, как у нас в Петербурге, у Жискара, кусок хорошего бивстекса?.. Не правда ли? Котлету с трюфелями?.. Соте-де-желиот? (Рагу из рябчиков? (фр.))

— Эх, полно, братец! не дразни. Да неужели и сегодня не приедут с провиантом из Дершау? Вот уж третий день, как мы здесь на пище святого Антония.

— Так что ж? — сказал хладнокровно капитан Зарядьев, который, опорожнив глубокую тарелку с вареным картофелем, закурил спокойно свою корневую трубку. — Оно и кстати: о спажинках на святой Руси и волею постятся.

— О спажинках? Что за спажинки? — спросил Сборской.

Зарядьев перестал курить и, взглянув с удивлением на Сборского, повторил: — Что за спажинки?.. Неужели ты не знаешь?.. Да бишь виноват!.. совсем забыл: ведь вы, кавалеристы, народ модный, воспитанный, шаркуны! Вот кабы я заговорил с тобой по-французски, такты бы каждое слово понял... У нас на Руси зовут спажинками успенской пост.

— А все это проклятые французы! — перервал Ленской. — В последнюю вылазку кругом нас обобрали, разбойники! По их милости во всей нашей деревне не осталось двух куриц налицо.

— Да! был на их улице праздник, — примолвил Сборской, — побуянили порядком! Зато теперь притихли, голубчики: не смеют носа показать из крепости.

— Не смеют? — а проходит ли хотя одна ночь, чтоб они не тревожили наши аванпосты?

— Да это все проказит... тот... как бишь его? ну вот тот... черт его побери...

— Шамбюр?

— Да, да! Шамбюр. Говорят, что он изо всего гарнизона выбрал себе сотню таких же сорванцов, как он сам, и назвал их *la compagnie infernale*...

— Как? — спросил Зарядьев. — *La compagnie infernale*, то есть: адская рота.

— Ах они самохвалишки! Адская рота. Помнится, они называли гренадерские полки, которыми командовал Удинот, также адскою дивизиєю; однако ж под Клястицами, а потом под Полоцком...

— Что? чай, дурно дрались? — спросил насмешливо Сборской. — Дрались-то хорошо, а все-таки Полоцка не отстояли. Что они, запугать, что ль, нас хотят? Адская рота!..

— А нечего сказать, — перервал Сборской, — этот Шамбюр молодец? И черт его знает, как он всегда вывернется? Откуда ни возьмется с своей ротою, накутит, намутит, всех перетревожит, да и был таков!

— А кто такой этот Шамбюр? — спросил Ленской.

— Разумеется — французской офицер.

— Пехотинец?

— И! что ты? верно, кавалерист.

— А почему не пехотный? — спросил Зарядьев.

— Почему?.. почему?.. Во-первых, потому, что Рославлев, которого посылали из главной квартиры парламентаром в Данциг, видел его в гусарском мундире...

— Так поэтому он и кавалерист? — возразил Зарядьев. — Да разве у этих французов есть какая-нибудь форма? Кто как хочет, так и одевайся. Насмотрелся я на эту вольницу: у одного на мундире шесть пуговиц, у другого восемь; у этого португепя по мундиру, у того под камзолом; ну вовсе на военных не походят. Поглядел бы я на их ученье — то-то, чай, умора! А уж как они ретировались из Москвы — господи боже мой!.. Кто в дамском салопе, кто в лисьей шубе, кто в стихаре — ну сущий маскарад!

— Хороши были и мы! — сказал Ленской.

— Конечно, и у нас единообразия не было, а все-таки, бывало, хоть в нагольном тулупе, а шарфом подвяжешься... Чу!.. что это?.. выстрел!

— Это Двинской с своим рундом, — сказал Ленской, взглянув в окно. — Я слышу его голос.

— Как же он смел делать тревогу?.. Разве я не отдал в приказе по роте...

— У них ружья заряжены, так, может быть, кто-нибудь из солдат не остерегся... Ну, так и есть!.. Я слышу, он кричит на унтер-офицера. Через несколько минут Двинской вошел в комнату.

— Господин подпоручик! — сказал Зарядьев, — что значит этот беспорядок?.. Стрелять по пробитии зари!..

— Это случилось нечаянно, Василий Иванович! — отвечал почтительно Двинской. — Унтер-офицер Демин стал спускать курок...

— Вот я его выучу спускать курок... Завтра, как пробьют зорю...

— Василий Иванович! — перервал вполголоса Двинской, — вы, верно, не забыли, что в прошлом месяце, когда неприятель делал вылазку...

— Извольте, сударь молчать! Или вы думаете, что ротный командир хуже вас знает, что Демин унтер-офицер исправный и в деле молодец?.. Но такая непростительная оплошность... Прикажите фельдфебелю нарядить его дежурить по роте без очереди на две недели; а так как вы, господин подпоручик, отвечаете за вашу команду, то если в другой раз случится подобное происшествие...

— Тьфу, дьявольщина! какой ты строгой начальник, Зарядьев! — сказал, улыбаясь, Сборской.

— Прошу не погневаться! Мы не кавалеристы и лучше вашего знаем дисциплину; дружба дружбой, а служба службой... Рекомендую вам вперед быть осторожнее, господин подпоручик! А меж тем садись-ка, брат! Ты, чай, устал и хочешь что-нибудь перекусить. Ласковые слова капитана в одну минуту развеселили Двинского, который хотя почтительно, но с приметным неудовольствием выслушал строгой выговор своего взыскательного начальника.

— Нет, господа! — сказал он, снимая свою саблю, — позвольте мне вас попотчевать: я захватил целую лодку с провиантом, и если вам угодно разговеться...

— Как не угодно! — вскричал Ленской.

— Однако ж послушай! Уж не одним ли картофелем нагружена твоя лодка?..

— Не бойтесь! Найдется кой-что и на бивстекс.

— Брависсимо!.. Вели же скорей варить и жарить... Эй, хозяйка!.. Мадам!.. Либе фрау!.. (Сударыня!.. (нем.)) Сборской! скажи ей по-немецки, что мы просим ее занятьсястряпнею.

— Господин подпоручик! — сказал Зарядьев, — для чего вы не отрапортовали мне, что взяли лодку с провиантом?

— Да разве ты глух? — вскричал Сборской. — Какого еще надобно тебе рапорта?

— Извольте, сударь, рапортовать по форме, — продолжал Зарядьев, вставая важно с своего места.

— Честь имею донести, — сказал Двинской, спустя руки по швам, — что я, обходя цепь, протянутую по морскому берегу, заметил шагах в пятидесяти от него лодку, которая плыла в Данциг; и когда гребцы, несмотря на оклик часовых, не отвечали и не останавливались, то я велел кричать лодке причаливать к берегу, а чтоб приказание было скорее исполнено, командовал моему рунду приложиться.

— Хорошо!

— Гребцы не слушались. Я приказал фланговому солдату выстрелить.

— Хорошо!

— Пулею сшибло одному гребцу шляпу...

— Хорошо! А кто был фланговым?

— Иван Петров.

— Хороший стрелок!

— Лодка остановилась, и когда я закричал, что открою по ним батальный огонь, гребцы принялись за веслы, причалили к берегу...

— Довольно! — вскричал Сборской, — остальное мы знаем.

— Я не слышал и не знаю ничего: извольте продолжать.

— По обыску в лодке нашлись съестные припасы; гребцы объявили, что везли их в Данциг для стола французского коменданта генерала Раппа...

— Ага! — вскричал Ленской, — так его превосходительство будет завтра постничать!..

— Вот вздор! — перервал Сборской, — они еще не всех лошадей переели. Рославлев сказывал, что видел в городе целый взвод конных егерей.

— Господин подпоручик! — сказал Зарядьев, — завтра чем свет извольте отправить гребцов за крепким караулом в главную квартиру, а под захваченный вами неприятельской провиант, потребуйте — также завтра — из ближайшего парка нужное число фор-шпанок (перекладных (нем.)).

— Зачем? — спросил Сборской.

— Я при рапорте представлю его в главную квартиру.

— С ума ты сошел! — вскричал Ленской, — иль ты думаешь, что в главной квартире нечего есть?

— Это не мое дело.

— Помилуй, братец! Мы умираем здесь с голоду.

— Неправда! у нас есть картофель.

— Черт возьми твой картофель и тебя с ним вместе! Послушай, Зарядьев! оставь здесь хоть половину!

— Не могу. Все захваченное у неприятеля должно доставлять при рапорте в главную квартиру.

— Голубчик! душенька!.. пожалуйста! хоть на сегодняшний и завтрашний день.

— Ну, добро, так и быть! ешьте сегодня вдоволь, а завтра... вы слышали мое приказание, господин подпоручик.

— Слышишь, Двинской? — закричал Ленской. — Вели же поскорей отпустить хозяйке все, чего она потребует. Эй, мадам!.. мутерхен!.. (матушка!.. (нем.)) мы хотим эссен!.. (есть!.. (нем.)) много, очень много — филь! Сборской! скажи ей, чтоб она готовила на

десятерых: может быть, кто-нибудь заедет, а не заедет, так мы и завтра доедим остальное.

— Кому теперь заехать? — сказал Зарядьев, посмотрев на свои огромные серебряные часы, — половина десятого, и когда поспеет вам ужин?

— Долго ли приготовить несколько кусков бивстекса: это минутное дело.

— Постойте-ка! — сказал Ленской, — мне кажется, кто-то въехал к нам в ворота. Посмотрите, если к нам не нагрянут гости: чай, теперь на всех аванпостах знают, что мы захватили обед господина Раппа. Ну, не отгадал ли я? Вот уж из главной квартиры стали к нам наезжать.

— Здравствуйте, господа! — сказал Рославлев, войдя в комнату. — Насилу я выбрал время, чтоб с вами повидаться. Ну что, как поживаете?

— Здорово, Владимир! — вскричал Сборской. — Милости просим! Ты ужинаешь с нами?

— И даже ночью.

— Ну, садись и рассказывай, что слышно нового? Что у вас делают? Долго ли нам кочевать вокруг Данцига? Не поговаривают ли о сдаче? Ведь мы здесь настоящие провинциалы: не знаем ничего, что делается в большом свете. Ну, что ж молчишь? Говори, что нового?

— Во-первых, новое то, что вы видите меня живого.

— Как так?

— Да так. Вчера вечером меня послали в траншеи с приказаниями к отрядному начальнику. Исполнив данное мне поручение, я стал в промежутке пушечных выстрелов кой о чем болтать с артиллерийскими офицерами. Меж тем на дворе смерклося; наши выстрелы стали реже; влево на Гагельсберге (Гагельсберг и Бишефсберг — две укрепленные горы подле самой крепости города Данцига. — Прим. автора.) французы продолжали отстреливаться, а против нас, на Бишефсберге, вдруг все замолкло; мы подошли поближе к турам, выглянули, и я в первый раз увидел вблизи этот грозный Бишефсберг, который, как громовая туча, заслонял от нас город. При каждом взрыве наших бомб и гранат освещались неприятельские батареи; но солдат не было видно; французы сидели спокойно за толстым бруствером и отмалчивались. «Кой черт? — сказал артиллерийской капитан, который стоял возле меня, — что они — заснули, что ль?» Не успел он это выговорить, как вдруг... господи боже мой!.. мне показалось, что весь Бишефсберг вспыхнул; народ закипел на неприятельских батареях, ядра посыпались, и поднялась такая адская трескотня!.. Ну поверите ль? до сих пор еще гудит в ушах. Одно ядро попало в амбразуру, подле которой я стоял; меня с ног до головы осыпало землю, и пока я отряхался и ощупывал себя, чтоб увериться, на своем ли месте моя голова и руки, справа в траншеях раздался крик: «En avant!» Засверкали огоньки, и две или три пули

свистнули у меня под самым носом... «Французы, французы!..» — «Где?» — спросил артиллерийской капитан. «Здесь! В траншеях!..» — «Становись!.. стрелки, вперед!» — закричал отрядный начальник и с простреленной головой повалился на меня; на него упало еще человека два. Тут я ничего невзвидел, а слышал только, что надо мной визжали пули и раздавался крик французского офицера, который ревел как бешеный: «Ferme!.. feu de peloton!» (Смелей!.. стрелять повзводно! (фр.)) Я стал выдираться из-под убитых, и лишь только высвободил голову, как этот проклятый крикун стал одной ногой мне на грудь и заревел опять: «En arriere! feu de fil! bien, mes enfants!» (Назад! стрелять цепью! хорошо, ребята! (фр.)) Задыхаясь от боли и досады, я собирался уже укунить за ногу этого злодея; но он закричал: «Repliez — vous!» (Отступайте! (фр.)) — отскочил назад, в один миг исчез вместе с своими солдатами; и я успел только заметить при свете выстрелов, что этот крикун был в богатом гусарском мундире.

— Так это молодец Шамбюр? — перервал Сборской.

— Да, он. Мы узнали от двух захваченных в плен солдат, что они принадлежат к адской роте, которою командует этот сорвиголова.

— Ну, право, я дорого бы заплатил, — вскричал Ленской, — за то, чтоб взглянуть на этого удалого малого!

— А я бы не дал за это ни гроша, — сказал Зарядьев. — Дело другое, если б я мог размозжить ему голову... Неугомонный! буян!.. Ну что прибыли, что он ворвался в траншею с сотнею солдат?.. Эка потеха!.. терять людей из одного удалства!..

— Он делает свое дело, — возразил Сборской, — Шамбюр как партизан должен нас всячески тревожить.

— Партизан!.. партизан!.. Посмотрел бы я этого партизана перед ротою — чай, не знает, как взвод завести! Терпеть не могу этих удалцов! То ли дело наш брат фрунтовой: без команды вперед не суйся, а стой себе как вкопанный и умирай, не сходя с места. Вот это служба! А то подкрадутся да подползут, как воры... Удалось — хорошо! не удалось — подавай бог ноги!.. Провал бы взял этих партизанов! Мне и кабардинцы на кавказской линии надоели!

— В том-то, брат, и дело! — сказал Сборской. — Надо почаще надоедать неприятелю. Как не дашь ему ни на минуту покоя, так у него и руки опустятся. Вот, например, этот молодец Шамбюр, чай, у всех наших аванпостных как бельмо на глазу.

— Тьфу, пропасть! — вскричал Зарядьев, бросив на пол свою трубку, — наладил одно: молодец да молодец! Давай сюда этого молодца! Милости просим начистоту: так я с одним взводом моей роты расчешу его адскую сотню так, что и праха ее не останется.

Что, в самом деле, за отметной соболь? Господи боже мой! Да пусть пожалует к нам сюда, на Нерунг, хоть днем, хоть ночью!

— Сюда? — повторил Рославлев. — Как это можно? Позади всех наших линий, за пять верст от своих аванпостов, — что ты! Разве он сумасшедший!

— Смотри, Зарядьев, — сказал Сборской, мигнув потихоньку другим офицерам, — не накличь беды на свою голову! Теперь ты храбришься, а как вдруг он нагрянет...

— Так что ж? Добро пожаловать! Не испугаемся.

— Ну, не ручайся, брат: неровна минута. Скажи-ка правду: неужели ты во всю свою жизнь никогда и ничего не пугался?

— Никогда.

— Я про себя этого не скажу, — продолжал Сборской. — Я однажды так трухнул, что у меня волосы стали дыбом и язык отнялся.

— В деле? — спросил Зарядьев.

Сборской покраснел, провел рукою по своим черным усам и, помолчав несколько времени, сказал:

— Слушай, Зарядьев: мы приятели, но если ты в другой раз сделаешь мне такой глупой вопрос, то я пушу в тебя вот этой кружкою. Разве русской офицер и кавалерист может струсить в деле?

— Не знаю — кавалерист, а наш брат пехотинец... — Послушайте-ка, господа, — перервал Ленской, стараясь замять разговор, которой мог дурно кончиться, — если говорить правду, так вот нас здесь пятеро: все мы народ обстрелянный, хорошие офицеры, а, верно, каждый из нас хотя один раз в жизни чувствовал, что он робел.

— Признаюсь, — сказал Рославлев, — со мною что-то похожее недавно было.

— И я месяца два тому назад, — прибавил Двинской, — испугался не на шутку.

— Что грех таить, — продолжал Ленской, — и я однажды больно струсил. А ты, Зарядьев?

— Я уж сказал, что никогда и ничего не боялся.

— Право? А не случилось ли тебе ошибаться во фрунте перед твоим бригадным командиром?

— Перед бригадным командиром?.. Да нет, я никогда не ошибался.

— Как вы думаете, господа! — подхватил Рославлев, — мы еще нескорю ляжем спать; пусть каждый из нас расскажет историю своего испуга: это должно быть очень любопытно.

— И вовсе не обыкновенно, — прибавил Сборской. — Верно, не было примера, чтоб четверо храбрых и обстрелянных офицеров, вместо того чтоб говорить о своих подвигах,

рассказывали друг другу о том, что они когда-то трусили и боялись чего бы то ни было. — А чтоб нам веселее было болтать, — продолжал Рославлев, — так велите-ка внести кулечек, который я привез с собою: в нем полдюжины шампанского.

— Ай да приятель! — вскричал Сборской. — Шампанское! Давай его сюда!.. Тьфу, черт возьми!.. Хорошо вам жить в главной квартире: все есть.

Вино принесли, пробки полетели в потолок, шампанское запенилось, и Рославлев, опорожнив одним духом свой стакан, начал:

— Вы слышали, я думаю, господа, что генерал Рапп запретил принимать наших парламентаров. Тому назад недели две посылали для переговоров, в предместье Лангфурт, майора Ольгина; его встретили на неприятельских аванпостах ружейными выстрелами, убили лошадь и сшибли пулею с головы фуражку, Из этого ласкового приема нетрудно было заключить, что господин Рапп не на шутку изволил на нас дуться и что всякой русской парламентар будет угощен не лучше Ольгина. Но так как его превосходительство не в первый уже раз изволил отдавать и отменять подобные приказы, то дня через три после этого велели мне отвезти к нему письмо, в котором наш корпусный командир убеждал его принять обратно в город высланных им жителей. Вы, верно, знаете, что Рапп выгнал из Данцига более четырехсот обывателей, в том числе множество женщин и детей. Дабы предупредить эти эмиграции, которые, уменьшая число жителей крепости, способствовали гарнизону долее в ней держаться, отдан был строгой приказ не пропускать их сквозь нашу передовую цепы и эти несчастные должны были оставаться на нейтральной земле, среди наших и неприятельских аванпостов, под открытым небом, без куска хлеба и, при первом аванпостном деле, между двух перекрестных огней. В провожании драгунского трубача я выехал за нашу передовую цепь. Надобно вам сказать, что с этой стороны дорога к неприятельским аванпостам идет по узкому и высокому валу; налево подле него течет речка Родауна, а по правую сторону расстилаются низкие и обширные луга Нидерланда, к которому примыкает Ора, городское предместье, занятое французами. Получив приказание отправиться парламентаром рано поутру, я не успел напиться чаю и потому в деревне, занимаемой нашей передовой линией, купил у булочника несколько кренделей, располагаясь позавтракать на открытом воздухе, во время переезда моего от наших аванпостов к неприятельским, Погода была ясная, но сильный ветер дул мне прямо в лицо и доносил до меня стон и рыдания умирающих с голода данцигских изгнанников. Лишь только они завидели приближающегося к ним русского офицера, как весь их стан пришел в движение: одни ползком спешили добраться до вала, по которому я ехал; другие с громким воем бежали ко мне навстречу... Ах, любезные друзья! Есть минуты, в которые наш брат военный прокликает войну! Не ядра

неприятельские, не смерть ужасна: об этом солдат не думает; но быть свидетелем опустошения прекрасной и цветущей стороны, смотреть на гибель несчастных семейств, видеть стариков, жен и детей, умирающих с голода, слышать их отчаянный вопль и из сострадания затыкать себе уши!.. Вот что истинно ужасно, товарищи! Вот отчего и у русского солдата подчас занает и кровью обольется ретивое!

По невольному и совершенно безотчетному движению я придержал мою лошадь. В одну минуту столпилось человек двадцать около того места, где я остановился; мужчины кричали невнятным голосом, женщины стонали; все наперерыв старались всползти на вал: цеплялись друг за друга, хватались за траву, дрались, падали и с каким-то нечеловеческим воем катились вниз, где вновь прибегающие топтали их в ногах и лезли через них, чтоб только дойти до меня. Я поспешил бросить им мои крендели; в одну секунду их разорвали на тысячу кусков, и в то время, как вся толпа, давя друг друга, торопилась хватать их на лету, одна молодая женщина успела взобраться на вал... Нет! во всю жизнь мою я не забуду этого ужасного лица!.. Мертвец с открытыми неподвижными глазами приводит в невольный трепет; но, по крайней мере, на бесчувственном лице его начертано какое-то спокойствие смерти: он не страдает более; а оживленный труп, который упал к ногам моим, дышал, чувствовал и, прижимая к груди своей умирающего с голода ребенка, прошептал охриплым голосом и по-русски: «Кусок хлеба!.. ему!..» Я схватился за карман: в нем не было ни крошки! Не могу описать вам, что происходило в эту минуту в душе моей! До сих пор еще этот ужасный голос, в котором даже было что-то для меня знакомое, раздается в ушах моих. Я помню только, что зажмурил глаза, ударил нагайкою мою лошадь и промчался не оглядываясь с полверсты вперед. «Полегче, ваше благородие! — сказал трубач. — Вон французской пикет!» В самом деле, я был уже почти у въезда в предместье Ора. Шагах в тридцати от меня, перед одним полуобгорелым домом, ходил неприятельской часовой; закутавшись в синюю шинель и спустя вниз ружье, он мерными шагами двигался взад и вперед, как маятник; иногда поглядывал направо и налево, но как будто бы нарочно не смотрел в мою сторону. «Труби!» — закричал я драгуну. Он принялся трубить, но сильный ветер относил назад все звуки, и неприятельской часовой продолжал расхаживать перед домом, не обращая на нас никакого внимания. Я подъехал ближе, остановился; драгун начал опять трубить; звуки трубы сливались по-прежнему с воем ветра; а проклятый француз, как на смех, не подымал головы и, остановившись на одном месте, принялся чертить штыком по песку, вероятно, вензель какой-нибудь парижской красавицы.

— Ах он ротозей! — вскричал Зарядьев. — Да я бы этого часового на ногах уморил!.. Сохрани боже! У меня и в мирное время попробуй-ка махальный прозевать генерала, так

я...

— Полно, братец! — сказал Сборской, — не мешай ему рассказывать. Ну что ж, Рославлев, ты подъехал к нему под нос?..

— Почти. Шагах в пятнадцати от часового вал оканчивался глубокой канавою, через нее переброшены были две узенькие дощечки. Я въехал на этот живой мост, который гнулся под моей лошадыю, и велел драгуну трубить что есть мочи. Лишь только он затянул первый аккорд, как вдруг часовой встрепенулся, отпрыгнул два шага назад и схватился за ружье. «Parlementaire, camarade! — сказал я громким голосом. — Parlementaire!» (Парламентер, товарищ! Парламентер! (фр.)). Но француз, не говоря ни слова, взвел курок и прицелился в мою лошадь. «Труби, разбойник! — закричал я моему драгуну, — труби!» — и мой драгун затрубил так, что у меня в ушах затрещало; но часовой продолжал целиться, только уже не в лошадь, а прямо мне в грудь. Ах, черт возьми! В пятнадцати шагах и плохой стрелок не даст пуделя; я же на этом проклятом мостике не мог повернуться ни направо, ни налево и стоял неподвижно, как мишень. Меж тем часовой, как будто бы желая вернее отправить меня на тот свет, приподнял немного ружье и уставил дуло прямехонько против моего лба. «Finiissez, finissez!..» (Прекратите, прекратите!. (фр.)) — закричал я, махая белым платком, — не тут-то было! Как видно, этому бездельнику показалось забавно расстреливать меня понемногу: он повернул ружье и прицелился мне в висок; я осадил лошадь, француз спустил курок — осечка! Все это происходило в течение какой-нибудь полуминуты, и, честью клянусь, не могу сказать, чтоб я был совершенно спокоен, однако ж не чувствовал ничего необыкновенного; но когда этот злодей взвел опять курок и преспокойно приложился мне снова в самую середину лба, то сердце мое сжалось, в глазах потемнело, и я почувствовал что-то такое... как бы вам сказать?.. Да тьфу, пропасть! что тут торговаться: я струсил. К счастью, мой драгун, видя беду неминуемую, пустил на своей трубе такую чертовскую трель, что караульный офицер опрометью выскочил из дома, закричал на часового и, дав мне знак рукою съехать с мостика, подошел ко мне. Подлинно — у страха глаза велики: когда неприятельской офицер выбежал из караульни, то показался мне и красавцем и молодцом, а когда подошел ко мне поближе, то я увидел, что он дурен как смертный грех и по росту годился бы в бессменные фореиторы. Этот уродец объявил мне на дурном французском языке, что парламентеров не принимают, что велено по ним стрелять и что я должен благодарить бога за то, что он не француз, а голландской подданный и всегда любил русских. Распрощавшись с ним, я отправился обратно и, признаюсь, во весь тот день походил на человека, который с похмелья не может ни о чем думать и хотя не пьян, а шатается, как будто бы выпил стаканов пять пуншу.

ГЛАВА III

— История моего испуга, — сказал Сборской, когда Рославлев кончил свой рассказ, — совершенно в другом роде. Тебя этот бездельник расстреливал как дезертера, приговоренного к смерти по сентенции военного суда, а я имел причину думать, что сам сатана совсем причетом изволил надо мною потешаться.

— Что за вздор? — вскричал Рославлев.

— А вот, если угодно, — продолжал Сборской, — был уже за границую. Не стану вам рассказывать, как я доехал до Вильны: благодаря нашим победам меня по всей дороге принимали ласково, осыпали вежливостями и даже иногда вполголоса бранили вместе со мною Наполеона. На пятый день, под вечер, я спустился, или, лучше сказать, скатился с гор, которые окружают Вильну. Нет! никогда не изгладится из моей памяти ужасная противоположность, поразившая мои взоры, когда я въехал в этот город; противоположность, которая могла только встретиться в эту народную войну, поглотившую целые поколения. За версту от городских ворот, по обеим сторонам дороги, начинались, без всякого прибавления, две толстые стены, сложенные из замерзших трупов. Я не раз видел и привык уже видеть землю, устланную телами убитых на сражении; но эта улица показалась мне столь отвратительною, что я нехотя зажмурил глаза, и лишь только въехал в город, вдруг сцена переменилась: красивая площадь, кипящая народом, русские офицеры, национальная польская гвардия, красавицы, толпы суетливых жидов, шум, крик, песни, веселые лица, одним словом: везде, повсюду жизнь и движение. Мне случалось веселиться с товарищами на том самом месте, где несколько минут до того мы дрались с неприятелем; но на поле сражения мы видим убитых, умирающих, раненых; а тут смерть сливалась с жизнью без всяких оттенков: шаг вперед — и жизнь во всей красоте своей; шаг назад — и смерть со всеми своими ужасами! Вильна была наполнена русскими офицерами один лечился от ран, другой от болезни, третий ни от чего не лечился; но так как неприятельская армия существовала в одних только французских бюллетенях и первая кампания казалась совершенно конченою, то русские офицеры не слишком торопились догонять свои полки, из которых многие, перейдя за границу, формировались и поджидали спокойно свои резервы. Хотя в продолжение всей зимней кампании, бессмертной в летописях нашего отечества, но тяжелой и изнурительной до высочайшей степени, мы страдали менее французов от холода и недостатка и если иногда желудки наши тосковали, то зато на сердце всегда было весело; однако ж, несмотря на это, мы так много натерпелись всякой нужды, что при первом случае отдохнуть и пожить весело у всех русских офицеров закружились головы. Придумывая различные способы, как бы в короткое время убить поболее денег, наша

молодежь составила общество и назвала его лейб-шампанским; все члены разъезжали по приятельским балам и редутам (Публичные балы, на которых каждый может быть за определенную цену, объявленную в особой афишке. — Прим. автора.), посещали ежедневно театр, сыпали деньгами, играли с поляками, любезничали с полячками и, чтоб оправдать свое название, пили шампанское, как воду. Меня хотели было также завербовать в лейб-шампанцы; но я не мог долго оставаться в Вильне: непреодолимая страсть влекла меня за границу...

— Как? — вскричал Ленской, — ты любишь? а я до сих пор не знал этого!

— Да, мой друг! — продолжал Сборской, — любил, люблю и буду любить без памяти мой эскадрон, с которым я тогда почти два месяца был в разлуке. Повеселясь порядком и оставя половину моей казны в Вильне, я на четвертый день отправился далее, на пятый переехал Неман, а на шестой уверился из опыта, что в эту национальную войну Пруссия была нашим вторым отечеством.

— Что правда, то правда! — перервал Рославлев, — добрые и честные пруссаки принимали нас, как родных братьев.

— И побратались с нами после на ратном поле, — сказал Ленской. — Молодцы! лихо дерутся!

— И словно знают фрунтовую службу, — примолвил Зарядьев. — Как я поглядел в Кенигсберге на их развод, так — нечего сказать — засмотрелся! Конечно, наш брат, старый ротный командир, мог бы кой-что заметить в ружейных хватках; но зато как они прошли церемониальным маршем, так — я тебе скажу — чудо!

— Да, Василий Иванович! я думаю, и в этом они нам не уступят. Однако ж прошу не перерывать меня, а не то я никогда не доскажу вам моего приключения а la madame Radcliffe.

Привыкнув видеть одни запачканные жидовские местечки, я не мог довольно налюбоваться в первые два дня моего путешествия по Пруссии на прекрасные деревни, богатые усадьбы помещиков и на красивые города, в которых встречали меня с ласкою и гостеприимством, напоминающим русское хлебосольство; словом, все пленяло меня в этой земле устройства, порядка и благочиния. Начальники квартирных комиссий и бургомистры городов, в которых я останавливался, отводили мне всегда спокойные и даже роскошные квартиры; но в семье не без урода, говорит русская пословица. На третий день моего путешествия я опоздал несколько выехать из деревни, в которой господин шульц (староста. — Прим. автора.), ревностный патриот и большой политик, вздумал угощать обеденным столом в моем единственном лице все русское войско. Этот деревенский дипломат осыпал меня вопросами, рассказывал о тайных намерениях своего

правительства, о поголовном восстании храбрых немцев, о русских казаках, о прусском ландштурме (ополчении (нем.)) и объявил мне, между прочим, что Пруссия ожидает к себе одного великого гостя. «Вы меня понимаете? — сказал он значительным голосом. — Я пью за здоровье этого спасителя Пруссии и всей Европы — гура!.. И за здоровье отца нашего, Фридриха — гура! А знаете ли вы? — продолжал он, понизив голос, — что при свите сего августейшего посетителя едет инкогнито турецкий султан?.. За здоровье высокой особы, едущей инкогнито... гура!»

Я смеялся, но кричал от всей души с добрым моим хозяином, который почти со слезами простился со мною, когда я под вечер пустился снова в дорогу. Доехав часу в одиннадцатом до небольшого городка, в котором мне должно было ночевать, я отправился к бургомистру. Стукнул, сначала довольно тихо, медной скобою в толстую дубовую дверь: ответа не было; я застучал громче: никто не шевелился в целом доме. Ночь была холодная; я прозяб до костей, устал и хотел спать; следовательно, нимало не удивительно, что позабыл все приличие и начал так постукивать тяжелой скобою, что окна затряслись в доме, и грозное «хоц таузент! вас ист дас?» (проклятье! что это такое? (нем.)) прогремело наконец за дверьми; они растворились; толстая мадам с заспанными глазами высунула огромную голову в миткалевом чепце и повторила вовсе не ласковым голосом свое: «Вас ист дас?» — «Руссишер капитен!» — закричал я также не слишком вежливо; миткалевой чепец спрятался, двери захлопнулись, и я остался опять на холоду, который час от часу становился чувствительнее. Спустя несколько минут я принялся было снова за скобу; но двери наконец отворились, и та же толстощекая барыня впустила меня в сени, взвела на две лестницы и почти втокнула в небольшую комнату, освещенную двумя сальными огарками. Перед столом, накрытым зеленым запачканным сукном, сидел прегордый мусью с красным носом; бесконечные, журавлиные его ноги, не уместаясь под столом, тянулись величественно до половины комнаты; белый халат, сшитый балахоном, и превысокой накрахмаленный колпак довершали сходство этого надменного градоначальника с каким-то святочным пугалом. По левую его сторону, в изношенном сюртуке, с видом глубочайшего смирения, сидел человек лет пятидесяти; в зубах держал он перо, а на длинном его носе едва умещались... как бы вам сказать?.. не смею назвать очками эти огромные клещи со стеклами, в которых был ущемлен осанистый нос сего господина. Когда я вошел в комнату, гер бургомистр приподнялся на свои ходули и, показав мне молча порожний стул, принял снова положение, приличное своему высокому сану.

— Что вам угодно? — спросил он важным голосом.

— Квартиру, — отвечал я.

— Кто вы?

— Русской офицер.

— Ваш чин?

— Штабс-ротмистр.

— Гм, гм! Штабс-ротмистр? Не более?.. Писарь, пиши к Готлибу Фрейману. Писарь снял свои огромные очки, протер их своим носовым платком, но за перо не принимался.

— Что ж ты не пишешь? — спросил бургомистр сердитым голосом.

— Не ошиблись ли вы? — сказал писарь, — к Готлибу Фрейману?

— Да.

— Но если я осмелюсь вам заметить...

— Гальц мауль (Заткни глотку (нем.)), — закричал бургомистр, — делай, что приказывают.

Писарь замолчал, написал квартирный билет и, проводя меня до самой улицы, растолковал фурману (вознице (нем.)), куда ехать. Минуты через три мы остановились у небольшого дома, в котором нижний этаж был освещен довольно ярко, а второй и третий казались вовсе не обитаемыми. «Ого! — подумал я, входя в просторную комнату, — да мой хозяин, как видно, живет весело!» В самом деле, за тремя столами пиروvalo человек двадцать по большей части дурно одетых и полупьяных людей. Хозяин принял меня очень вежливо; но, казалось, смотрел с удивлением на мои эполеты и офицерскую саблю с серебряным темляком.

— Где же моя комната? — спросил я.

— Вот здесь, гер капитан! — отвечал хозяин, показывая на дверь.

— Как! за этой перегородкой?

— Да! за этой перегородкой, гер майор.

— Дайте мне другую комнату.

— Извините; у меня нет другой.

— А долго ли будут здесь пиловать ваши гости?

— Может быть, всю ночь.

— Как, черт возьми! — закричал я, — что ж это значит? Где я?

— В кабаке, гер гауптман! (господин начальник! (нем.)) — отвечал с низким поклоном хозяин. — Не прикажете ли чего покушать?

Вместо ответа я накинул мою шинель, отправился назад к бургомистру и поднял такой ужасный стук, что перебудил всех соседей. Опять за дверьми закричали: «Хоц таузент!» Та же мадам прежним порядком ввела меня к господину бургомистру, который, выслушав

мои жалобы, поправил свой колпак и сказал: «Пиши к Адаму Фишеру». Писарь хотел было опять что-то возразить, но упрямый бургомистр закричал громче прежнего: «Гальц мауль!» — и я с новым билетом пустился отыскивать другую квартиру. На этот раз вояж мой был продолжительнее.

— Кой черт! скоро ли мы доедем? — спросил я наконец моего фурмана.

— Сейчас, господин офицер! — отвечал фурман, рисуя по воздуху вензеля длинным своим бичом.

— Но мы уж, кажется, выехали из города?

Фурман, не отвечая ни слова, въехал на длинную плотину, остановился и, приподняв свою шляпу, сказал:

— Вот ваша квартиру, господин офицер!

— Где? — спросил я, глядя во все стороны.

— Вот здесь! — продолжал ямщик, указывая бичом на высокую водяную мельницу.

Я соскочил с телеги; напудренный с ног до головы работник принял мой билет, и я вслед за ним вскарабкался по узенькой лестнице в небольшую светелку, устроенную почти над самыми жерновами. Говорят, что приятно дремать под шум водопада: этого я не испытал; но могу вас уверить, что, несмотря на мою усталость, не мог бы никак заснуть в этой каморке, в которой пол ходил ходуном, а стены дрожали и колебались, как будто бы от сильного землетрясения. Признаюсь, я рассердился не на шутку и принялся кричать так громко, что сам хозяин мельницы спустился ко мне из другой светлицы, которая, вероятно, была подалее от жерновов, и, увидя, что постоялец его русской офицер, принялся шуметь громче моего и ругать без милосердия бургомистра.

— Погодите, господин офицер! — вскричал он, отпустив дюжины две швернотов, — погодите! Я сбегая к бургомистру, я растолкую этому дураку!.. да, дураку! Адам Фишер не заикнется сказать правду... швернот! Я скажу ему, что русской офицер — доннер-веттер! должен иметь лучшую квартиру в городе — сакремент!.. (проклятье!.. (нем.))

Небось он не смел сажать французских офицеров на мельницу — хоц таузент! Гей, трость! шляпу!.. Я поговорю с этим бургомистром!.. Я с ним поговорю! Подождите, господин офицер, подождите!.. Крейц-веттер (проклятый (нем)) баталион!..

Вспльчивый мельник, ухватя свою шляпу и трость с серебряным набалдашником, бросился, как бешеный, вон из комнаты, зацепил за что-то ногою, скатился кубарем с лестницы и через минуту бежал уж по тропинке, крича во все горло:

— Я поговорю с ним — саперлот!.. (черт возьми!.. (нем.)) Я с ним поговорю!

Через полчаса он возвратился с торжествующим видом, держа в руках новый билет.

— Вот, господин офицер, — сказал он, — извольте! Я говорил вам, что бургомистр от

меня не отделаешь. Мы, пруссаки, должны любить и угощать русских, как родных братьев; Адам Фишер природный пруссак, а не выходец из Баварии — доннер-веттер! — Куда ж мне теперь ехать? — спросил я.

— В самую средину города, на площадь. Вам отведена квартира в доме профессора Гутмана... Правда, ему теперь не до того; но у него есть жена... дети... а к тому же одна ночь... Прощайте, господин офицер! Не судите о нашем городе по бургомистру: в нем нет ни капли прусской крови... Черт его просил у нас поселиться — швернот!.. Жил бы у себя в Баварии — хоц доннер-веттер!

Вот я отправился снова странствовать по городу. У дверей высокого каменного дома встретила меня с фонарем молодая служанка и повела вверх по устланной коврами лестнице. Необыкновенная чистота и приметный во всем порядок мне очень нравились; одно только казалось мне странным: служанка на все мои вопросы отвечала с каким-то смущенным видом, вполголоса и как будто бы к чему-то прислушивалась. Когда мы взойшли во второй этаж, выскочила на лестницу высокая и бледная женщина; она отвела к стороне служанку и начала с нею шептаться. Вдруг громкий вопль раздался в соседственном покое; дверь была до половины растворена; я не мог удержаться и заглянул в комнату. Молодая девушка, испуская пронзительные крики, в сильном нервическом припадке каталась по полу; около нее сустились две старухи в черном платье. Я поспешил к ним на помощь и, пособляя положить на диван больную, не заметил сначала, что посреди комнаты в открытом гробе лежит усопший. И сам не знаю, почему мне вздумалось посмотреть на покойника. Он был роста необыкновенного и чрезвычайно худ; но на бледном лице его не заметно было ничего смертного; казалось, он спал крепким сном и готов был ежеминутно пробудиться: это был хозяин дома, умерший поутру, а молодая девушка — дочь его. Пока мы хлопотали около больной, горничная, войдя в комнату, пригласила меня идти за собою и повела опять вверх по лестнице. Насчитав еще ступеней тридцать, я начинал уже опасаться, что после кабака и мельницы попаду на чердак; но в третьем этаже служанка остановилась, отворила дверь и, введя меня в просторный покой, засветила две восковые свечи.

С первого взгляда я удостоверился, что эта комната никогда не служила спальнею. Шкалы с книгами, ландкарты, глобусы, бюсты древних мудрецов, большой письменный стол, заваленный бумагами — все доказывало, что я нахожусь в кабинете ученого человека. Узнав, что я не хочу ужинать, проворная служанка в две минуты приготовила мне на широком диване мягкую постель, а для моего Афоньки постлала матрац — вероятно, для разительной противоположности — между двух шкапов с латинскими и греческими мудрецами. Я разделся; Афонька погасил свечи, повалился на свой матрац и запыхтел, как

кузнечный мех. Несмотря на мою усталость, я не мог долго заснуть: мне беспрестанно мерещился покойник; все черты лица его так живо врезались в мою память, что, казалось, я видел его пред собою. Как я ни старался думать о другом, но напрасно: мой хозяин не выходил у меня из головы и мешал мне заснуть. Не видя прока лежать с закрытыми глазами, я принялся от нечего делать рассматривать мою комнату. Ночь была лунная; вполнину освещенные шкапы, на которых стояли вазы, походили на какие-то надгробные памятники: из одного угла смотрел на меня Сократ, из другого выглядывал Цицерон. Казалось, все эти гипсовые головы готовы были заговорить со мною; но пуще всех надоел мне колоссальный бюст Демокрита: вполне освещенный луною, он стоял на высоком белом пьедестале, против самой моей постели, скалил зубы и глядел на меня с такою дьявольскою усмешкой, что я, не видя возможности отделаться иначе от этого нахала, зажмурил опять глаза, повернулся к стене и наконец, хотя с трудом, но заснул. Проклятый Демокрит не хотел и тут со мной расстаться: мне снилось, что он на том же высоком пьедестале стоит по-прежнему против меня, что глаза его вертятся ужасным образом, что он щелкает на меня зубами... Вот, гляжу — он зашевелился... медленно стал ко мне подходить... зашатался... упал мне на грудь... Я вскрикнул, проснулся — и что ж увидел перед собою? Человека... нет! чудовище в белом саване, положила мне на грудь, как свинец, тяжелую руку и нагнувшись надо мною, смотрело мне прямо в лицо. Оно было гигантского роста; глаза его сверкали. Я хотел вскочить с постели; но в эту самую минуту страшилище повернуло головою, и луна осветила лицо его. Волосы мои стали дыбом, я обмер... это был покойник! С полминуты, не имея силы тронуться ни одним членом, смотрел я молча на этого ужасного гостя, в груди моей не было голоса, язык мой онемел. Наконец с величайшим усилием я прокричал кой-как имя моего слуги. Афонька приподнялся, заговорил вздор, почесал в голове и захрапел громче прежнего; а покойник, как будто бы рассердился за мою попытку, заскрипел зубами и, продолжая одной рукой давить мне грудь, схватил другою за горло, стиснул: вся кровь бросилась мне в голову, в глазах потемнело — и я обеспамятел.

Не знаю, долго ли я пролежал без чувств, только когда пришел в себя, то увидел, что мертвец, крепко обхватив меня руками, лежит подле меня лицом к лицу; как лед холодная щека его прикасается к моей щеке; раскрытые глаза его неподвижны... он не дышит. Я рвусь, хочу высвободиться из этих адских объятий — невозможно!.. Меня обнимает бездушный труп, и руки, которыми я обхвачен, замерли, окостенели. Не приведи господи испытать никому того, что было со мною в эту ужасную минуту! Я чувствовал — да, господа! я чувствовал, как кровь застывала понемногу в моих жилах, как холод смерти переливался из бездушного трупа во все оледеневшие мои члены... Я снова лишился

чувств. На этот раз беспамятство мое было гораздо продолжительнее: я очнулся уже на другой день поутру. Подле меня сидели доктор и хозяйка дома с своей дочерью. Мне пустили кровь, и когда я несколько пообразумился, вдова с горькими слезами объяснила мне все приключение. Муж ее был болен сильным воспалением в мозгу; поутру, в день моего приезда в их город, с ним сделался летаргический припадок, обманувший даже медика; никто не сомневался в его смерти, но он был еще жив. Ночью, в то время как все его домашние, утомлённые бессонницей, заснули, он встал и, хотя в совершенном беспамятстве, но по какой-то машинальной привычке, отправился прямо в свой кабинет и пришел умереть на моей постели.

— Черт возьми! — вскричал Ленской, — это подлинно эпизод из «Удольфских тайнств»!

— И весьма поучительный, — продолжал Сборской. — Этот случай сделал меня снисходительнее к слабостям других. Бывало, я смеялся над трусами и презирал их, а теперь... знаете ли, что я о них думаю? Страх есть дело невольное, и, без сомнения, эти несчастные чувствуют нередко то, что я, за грехи мои, однажды в жизни испытал над самим собою; и если ужасные страдания возбуждают в нас не только жалость, но даже некоторый род почтения к страдальцу, то знайте, господа! что трусы народ препочтенный: никто в целом мире не терпит такой муки и не страдает, как они.

— И я скажу то же самое, — примолвил Зарядьев, закуривая новую трубку табаку. — Мне случалось видеть трусов в деле — господи боже мой! как их коробит, сердечных! Ну, словно душа с телом расстается! На войне наш брат умирает только однажды; а они, бедные, каждый день читают себе отходную. Зато уж в мирное время... тьфу ты, пропасть! храбрятся так, что и боже упаси!

— Ну, Двинской! — сказал Рославлев. — теперь очередь за вами — рассказывайте!

— Мое приключение, — сказал Двинской, — и коротко и обыкновенно: я струсил не смерти; напротив, я испугался того, что мне не удастся умереть.

— Как так? — спросил Сборской. — А вот слушайте!

ГЛАВА IV

АВАНПОСТ

— Месяцев шесть тому назад я был прикомандирован, по недостатку наличных офицеров, к М...му пехотному полку, стоявшему со стороны разлива, которым затоплены все низкие места вокруг Данцига. В то время как мы еще не храбровали, как теперь, Данцигский гарнизон был вдвое сильнее всего нашего блокадного корпуса, который вдобавок был растянут на большом пространстве и, следовательно, при каждой вылазке французов должен был сражаться с неприятелем, в несколько раз его сильнейшим; положение полка,

а в особенности роты, к которой я был прикомандирован, было весьма незавидно: мы жили вместе с миллионами лягушек, посреди лабиринта бесчисленных канав, обсаженных единообразными ивами; вся рота помещалась в крестьянской избе, на небольшом острове, окруженном с одной стороны разливом, с другой — почти непроходимой грязью. Для прогулки мы имели одну большую и несколько проселочных дорог, но редко пользовались этим удовольствием по той причине, что, ходя через день в караул, имели случай и без того вязнуть довольно часто по пояс в грязи и почти вплавь переправляться в тех местах, которые были поняты водою. Однажды рано поутру, отправляясь для смены на передовой аванпост, я вздумал понежиться и выпросил у нашего хозяина лошадь. Пока мне оседлывали превысокую клячу, я приказал старшему вести людей, а сам, в полной уверенности, что на борзом моем коне догоню их в несколько минут, остался позавтракать.

— Эх, Двинской, нехорошо! — перервал Зарядьев. — Караульный офицер не должен пяди отставать от своих солдат. Ты поступил совершенно против дисциплины и военного порядка.

— За это-то, видно, грех меня и попутал, — продолжал Двинской. — Я позавтракал, лихо вскочил на моего аргамака, приударил его нагайкою и выехал молодцом на большую дорогу. Сначала все шло довольно хорошо; мой огромный конь, на котором я сидел, как на каланче, сделал даже два или три курбета и обрызгал меня с ног до головы грязью. «Держитесь крепче!» — кричал мне хозяин, провожая меня за ворота. Я взглянул на него с презрением, гордо поправил фуражку, подбоченился и вместо ответа перескочил на моем верблюде с удивительно ловкостью лужу аршина в два шириною; но этим и кончились все блестящие подвиги моего парадера. При первой новой луже он призадумался, а при второй — я должен был минуты две работать нагайкою, чтоб заставить его идти вброд. Наконец кой-как я дотащился до поворота дороги; гляжу вперед — не тут-то было: моя солдаты ушли из виду. Тут вспомнил я, что за несколько дней, именно в этот же час, небольшой отряд французов, вышедший из города для фуражировки, чуть-чуть не вырезал наш аванпост: он спасся только тем, что подоспела смена; то же самое могло случиться и во второй раз. От одной этой мысли волосы стали у меня дыбом; я принялся погонять мою клячу и почти выбился из сил, когда подъехал к другому повороту, где начиналась сносная дорога, проложенная по низенькому валу; в конце его за небольшим леском расположен был наш аванпост. По правую сторону вала тянулись низкие поля, изрытые канавами; а по левую — разлив и бесконечный ряд ветряных мельниц. Я стал смотреть вперед; вижу в стороне казачий ведет, но вдали не блестят штыки моих солдат: все пусто и по всему валу до самой рощи не видно ни души.

Вдруг по ветру долетают до меня какие-то глухие звуки... что-то похожее... знакомое. Я боюсь верить... прислушиваюсь... боже мой! меня бросает в холодный пот! Мне кажется... так точно!.. я не ошибаюсь! перестрелка!.. Солдаты мои дерутся, а я — начальник их!.. Вся кровь застыла в моих жилах, страх придает мне необычайные силы, и я начинаю колотить с таким ожесточением мой лошадиный остов, что он после нескольких траверзов пускается рысью. Вот уже я на половине дороги; пальба становится ежеминутно слышнее; я могу считать выстрелы; но это не простая аванпостная перестрелка, а ровный батальный огонь — итак, дело завязалось не на шутку. Боже мой! Боже мой! Отчаяние мое доходит до высочайшей степени! Как дикой зверь врываюсь я в беззащитную мою клячу; казацкая плеть превращается в руке моей в барабанную палку, удары сыпятся как дождь; мой аргамак чувствует наконец необходимость пуститься в галоп, подымается на задние ноги, хочет сделать скачок, спотыкается, падает — и преспокойно располагается, лежа одним боком на правой моей ноге, отдохнуть от тяжких трудов своих. Я стараюсь высвободить мою ногу — не могу. Кричу, зову на помощь — напрасно: отчаянный вопль мой теряется в воздухе; все тихо кругом, и только впереди раздаются беспрестанные выстрелы... Мне кажется, что они приближаются... Так точно!.. может быть, караульный офицер убит... люди остались без начальника... Вдруг я почувствовал — да, господа! клянусь вам честью — мне показалось, что пахнет порохом. О, так нет сомнения!.. Французы сбили наш аванпост; они близко — мои солдаты бегут!.. Как описать вам, что происходило тогда в душе моей? Я видел, себя обесславленным, погибшим — да: погибшим навеки! Кого мог бы я уверить, что не трусость, а один несчастный случай и неосторожность разлучили меня с моими солдатами в ту самую минуту, когда я должен был драться и умирать вместе с ними? Я видел уже себя отданным под суд, я слышал уже неизбежный приговор судей моих... в ушах моих раздавались ужасные слова: «По сентенции военного суда, подпоручик Двинской, за самовольную отлучку от команды во время сражения с неприятелем...» Милосердый боже!.. А отец мой!.. этот заслуженный, покрытый ранами и крестами дряхлый старик, который, прощаясь со мною, говорил мне: «Ну, друг мой! пришло горе и на святую Русь! Бог с тобой — ступай, умирай за царя и веру православную. Ваня! ты у меня один, как порох в глазе; но так и быть — его святая воля! Если ты умрешь с честью, то я поплачу, а все-таки увижусь с тобою; но если ты... боже тебя сохрани... тогда и там не смей мне на глаза казаться». И что же? Я сын этого почтенного воина, обесславленный, заклеянный вечным позором... Ах! все это представилось так живо моему воображению... голова моя пылала... Если б я мог, по крайней мере, остановить моих солдат, подраться с неприятелем — нет, проклятая лошадь лежала как мертвая! Я не мог ни привстать, ни пошевелиться, и, хотя продолжал кричать,

но никто не спешил ко мне на помощь. Отчаяние, страх, непрерывные усилия довели меня наконец до такого расслабления, что я начинал уже терять чувства, как вдруг вижу — ко мне бегут: это был казак, который услышал наконец мой крик. Он принялся тащить с меня лошадь, а я закричал охриплым голосом:

— Где французы, где?

— Французы? — отвечал спокойно казак, — вон там!

— Где?..

— За нашим аванпостом.

— Как, наши еще отстреливаются?.. Слава богу!

— Нет, ваше благородие! все смирно. Ну, бес тебя дери, вставай! — прибавил он, стащив с меня лошадь.

— Как смирно? — вскричал я, вскочив на ноги, — да разве ты не слышишь? Казак вздрогнул, повернулся назад и стал прислушиваться.

— Что ты — оглох, что ль?.. Разве не слышишь, перестрелка?

— Никак нет, сударь! ничего не слышно.

— Да что ж это такое?

— Вот это, что стучит-то? Это толчея.

— Как?

— Да, ваше благородие! вот в этой мельнице, подле которой я стою.

Ух! какая свинцовая гора свалилась с моего сердца! Я бросился обнимать казака, перекрестился, захохотал как сумасшедший, потом заплакал как ребенок, отдал казаку последний мой талер и пустился бегом по валу. В несколько минут я добежал до роши; между деревьев блеснули русские штыки: это были мои солдаты, которые, построясь для смены, ожидали меня у самого аванпоста. Весь тот день я чувствовал себя нездоровым, на другой слег в постелю и схлебнул такую горячку, что чуть-чуть не отправился на тот свет.

— Поделом, брат! — перервал Зарядьев, — вперед наука!

— И могу вас уверить, — продолжал Двинской, — что эта наука пошла мне впрок. Теперь, когда я веду смену, то иду всегда впереди, как на ученье, перед моим взводом.

— Да так и должно: когда офицеры при своих местах, так и солдаты делают свое дело. Ну что? зачем? — спросил Зарядьев, обратясь к вошедшему ефрейтору.

— Я прислан, ваше благородие, с пикета, — ответил ефрейтор.

— Зачем?

— На плесе показались две лодки, ваше благородие!

— Две лодки?.. с народом?

— Не могу знать, ваше благородие! Темновато; а должно быть, народу немало: лодки большие.

— Верно, опять пробираются с провиантом, в город.

— Никак нет, ваше благородие! они идут прямо на нас от Гданска.

— Что б это значило? Ступай скажи сейчас караульному офицеру, чтоб у людей все ружья были заряжены!

— Слушаю, ваше благородие!

— Постой! часовым окликать каждые две минуты друг друга.

— Слушаю, ваше благородие!

— И полно, братец! — перервал Сборской, — что тебе за радость по пустякам всех тревожить. Тут и спрашивать нечего: это наши сторожевые баркасы или канонерские лодки.

— А почему ты это знаешь?

— Потому, что они беспрестанно разъезжают по взморью, чтоб не пропустить никого с провиантом; это их дело, а ваше перехватывать только тех, которые пробираются вдоль берега.

— А если это французы? Нет, брат, в военное время дремать ненадобно. Ефрейтор! скажи также дежурному по роте, чтоб люди были на всякой случай в готовности и при первой тревоге выходили бы все на сборное место.

— Слушаю, ваше благородие!

— Ступай!

Ефрейтор сделал налево кругом, притопнул ногою и вышел вон из избы.

— Ну, Зарядьев! — сказал Сборской, захохотав во все горло, — как Рославлев пугнул тебя своим Шамбюром: ты, никак, в самом деле думаешь, что он едет к нам в гости.

— А черт его знает! — отвечал Зарядьев, набивая спокойно свою трубку. — Он ли, не он ли, по мне все равно; главное в том, чтоб нас никто врасплох не застал.

— Добро, добро! Тебя ведь ничем не переуверишь. Ну что ж, Ленской? Теперь твоя очередь каяться. Покорно просим рассказать, где, когда и чего ты изволил струсить.

— Из моей истории, — сказал Ленской, — можно сделать что хочешь: и забавный водевиль, и престрашную мелодраму, только должно признаться, что в обоих случаях роля моя была бы вовсе не завидная; но делать нечего: хоть и стыдно, а пришлось рассказывать. Прошу прислушать..

ГЛАВА V

НОЧЛЕГ В ЛЕСУ

— В сражении под Чашниками я получил сильную контузию ядром и так же, как ты, Сборской, промаялся месяца два в жидовском местечке; но только не дразнил жида, оттого что моим хозяином был польской крестьянин, и не беседовал с французами, потому что квартира моя была в глухом переулке, по которому не проходили ни французы, ни русские. По выздоровлении моем я отправился догонять мою роту и так же, как ты, встречал везде ласковый прием, то есть меня кормили, поили и называли подчас ясновельможным паном. На третий день моего путешествия мне пришлось, под вечер, ехать дремучим сосновым лесом; на дворе было погодно, попархивал мелкой снежок, и холодный ветер продувал насквозь мой плащ, который некогда был подбит ватой, но протерся так на биваках, что во многих местах был ожур (точнее: ажур — прозрачный (от фр. *ajour*)). Часа полтора я зябнул молча; наконец вышел из терпения и закричал своему проводнику:

— Да скоро ли мы доедем до ночлега, разбойник!

— А вот как выедем из лесу, пане! — отвечал проводник.

— А скоро ли мы выедем из лесу?

— А вот как переедем длинный мост, пане!

— Да скоро ли мы доедем до моста?

— А вот как подыдемся на гору, пане!

— Черт тебя возьми! Да где ж эта гора?

— Не близко, пане! Не то две, не то четыре добрых мили.

Я ужаснулся. И одна добрая миля в Польше стоит наших семи верст, а четыре!..

— Да нет ли где-нибудь поблизости господской мызы? — спросил я.

— Як же, пане! вон в стороне, бачишь, бялу муравянку? (видишь, белый каменный дом? (пол.))

Я обернулся в ту сторону, на которую проводник указывал своим кнутом, и увидел, что в конце узкой просеки что-то белелось и мелькал огонек.

— Что это? Господской дом? — спросил я.

— Так есть, пане!

— Вези нас туда.

Поляк поворотил в просеку, и чрез несколько минут мы въехали на обширный двор. С полдюжины всякого рода собак подняли ужасный лай, а на крыльцо длинного оштукатуренного флигеля высыпало человек пять или шесть дюжих лакеев. Один из них принял меня под руку из саней и, введя в просторную и весьма чисто убранную столовую, побежал доложить хозяину, что приехал русской офицер. Судя по вежливому приему

слуг, я должен был надеяться, что хозяин обойдется со мною очень ласково — и не ошибся. Двери в гостиную растворились; небольшого роста худощавый старичок выбежал ко мне навстречу с распростертыми объятиями. «Милости просим, дорогой гость! — закричал он по-русски, обнимая меня с изъявлениями живейшей радости. — Милости просим! Для меня всегда, истинный праздник, когда русской офицер заедет в мой дом. Прошу покорно садиться. Да скиньте вашу саблю, отдохните, успокойтесь!» Я стал было извиняться, но ласковый хозяин не дал мне выговорить ни слова, осыпал меня приветствиями и, браня без милосердия французов, твердил беспрестанно: «Защитники, спасители наши! Как нам вас не любить? Если б не вы, мы вовсе бы погибли! Эти злодеи, французы, грабители! Ползлота в кармане не оставили; все обобрали: скот, деньги, вещи; ну верите ль богу! — примолвил он, вынимая из кармана золотую табакерку рублей в шестьсот, — хоть по миру ступай по милости этих варваров: в разор разорили нас бедных!» «Все это хорошо, — думал я, — но нищий, который нюхает табак из золотой табакерки, верно, найдет, чем покормить своего защитника и спасителя». Прошло около часа, хозяин не унимался хвалить русских офицеров, бранить французов и даже несколько раз, в восторге пламенной благодарности, прижимал меня к своему сердцу, но об ужине и речи не было. Наконец, я решился намекнуть, что русской офицер также может и устать и проголодаться. «Так вы хотите ужинать? — вскричал хозяин. — Что же вы не говорите? Помилуйте! вы здесь у себя дома — приказывайте! Для кого другова, а для вас у меня все найдется. Гей, хлопец!» Вошел слуга; хозяин пошептал ему что-то на ухо и принялся снова осыпать меня вежливостями. Прошло еще с полчаса, и, признаюсь, это словесное угощение начало мне становиться в тягость, тем более что в прищуренных и лукавых глазах хозяина заметно было что-то такое, что совершенно противоречило кроткому его голосу и словам, исполненным ласки и чувствительности. Вошел слуга и доложил, что ужин готов. Мы вышли в столовую. Небольшой круглый стол был накрыт Для одного меня; на нем стояла дорогая серебряная миска, два покрытых блюда, также серебряных, два граненых графина с водою, и на фарфоровой прекрасной тарелке лежал маленькой ломтик хлеба, так ровно, так гладко и так красиво отрезанный, что можно было им залюбоваться, если б он не был чернее сапожной ваксы. «Не погневайтесь! — Сказал хозяин, садясь насупротив меня, — я сам никогда не ужинаю, а признаюсь — люблю смотреть, когда у меня кушают другие. Прошу покорно! — продолжал он; подавая мне глубокую тарелку с супом. — Вы человек военный, вам не всегда удастся хорошо поужинать. Милости просим! это немецкой васер-суп» (Ироническое выражение, буквально: суп из воды (нем.)).

Я хлебнул одну ложку... Владыко живота моего! Что это!.. Подогретая мутная вода, в которой не варился даже и картофель. «Кушайте, мой дорогой гость! — повторял хозяин, — подкрепляйте ваши силы — на здоровье! Этот суп отменно питателен». Я не знал, что думать; в голосе этого злодея было такое добродушие, в улыбке такая простота; но глаза — о, глаза его блистали и вертелись, как у демона! «Я вижу, — продолжал он, — вы не охотники до горячего, так милости прошу нашего польского ростбифа». Он открыл одно блюдо, придвинул его ко мне, и что ж... в нем бежала фунта в три огромная кость, около которой не было и двух золотников мяса. Я вспыхнул от досады; но, поглядев вокруг себя и видя, что я один-одинехонек посреди десяти рослых слуг, которые как истуканы стояли неподвижно вокруг стола, скрепился и промолчал.

— Что ж вы не кушаете, мой почтеннейший? — сказал хозяин. — А, понимаю! Надобно прежде выпить? Конечно, конечно! Хотелось бы мне попотчевать вас хорошим венгерским, да проклятые французы — черт бы их взял! — все до капельки вытянули; но зато у меня есть домашнее пивцо... Не хочу хвастаться — попробуйте сами. Эй, малой! бутылку мартовского пива! — Принесли закупоренную бутылку; хозяин налил большой серебряной стакан и подал мне. Желая знать, как долго будет продолжаться эта мистификация, я выпил полстакана какой-то микстуры, которая походила на русской, разведенный водою квас. Между тем хозяин, наскобля около кости кусочек мяса с грецкой орех, поставил передо мною. Я так был голоден, что, несмотря на злость мою, проглотил этот прием ростбифа и пропустил вслед за ним кусок черного хлеба в одну секунду. «Теперь, — сказал хозяин, — я попотчую вас рыбою из моих прудов. Французы и тут мне наделали пакостей: всех крупных карасей выловили. Что делать? Чем богаты, тем и рады! прошу покорно!» Он открыл последнее блюдо и с дьявольскою улыбкою пододвинул ко мне... нет, черт возьми! это уже из меры вон! один жареный пескарь!.. Я не вытерпел и выскочил из-за стола. «Что это, мой почтеннейший! вы не хотите кушать? А все, чай, от усталости. Когда подумаешь, что вы, господа военные, для нас, мирных граждан, терпите!.. И холод, и голод, и всякую нужду: подлинно, мы не должны и сами ничего для вас жалеть. Но вижу, вы точно устали и хотите отдохнуть». — Да, сударь! — сказал я прерывающимся от бешенства голосом, — прошу покорно показать мне мою комнату.

— Я сам буду иметь честь проводить вас. Гей, малой! свети!

Мы прошли длинным коридором на другой конец дома; слуга отпер дверь и ввел нас в нетопленную комнату, которую, как заметно было, превратили на скорую руку из кладовой в спальню.

— Помилуйте! — вскричал я, — да здесь замерзнешь!

— Извините, почтеннейший! — отвечал хозяин. — Не смею положить вас почивать в другой комнате; у меня в доме больные дети — заснуть не дадут; а здесь вам никто не помешает. Холода же вы, господа военные, не боитесь: кто всю зиму провел на биваках, тому эта комната должна показаться теплее бани.

— Но позвольте вам сказать...

— Не хочу мешать вам отдохнуть. Доброго сна, господин офицер! Покойной ночи! Сказав эти слова, хозяин хлопнул дверью, и я остался один с слугой моим Андреем, у которого постная рожа была еще длиннее моей.

— Что это, сударь? — сказал он, поглядев вокруг себя, — куда это мы попали? Помилуйте! ведь я еще ничего не ел.

— Убирайся к черту! Я сам умираю с голода.

— Как, сударь! так и вас не лучше моего угостили? Меня в кухне все потчевали водою да снесли от вас говяжью кость, на которой и собака ничего бы не отыскала. Это, дискать, твой барин шлет тебе подачку. Разбойники! Эх, сударь, если б мы были здесь с вашей ротой!..

— Если б!.. если б!.. Молчи, дурак! Андрей замолчал, а я стал раздеваться и, поглядывая на приготовленную для меня постель, думал про себя: «Однако ж этот палач хочет, по крайней мере, чтоб я соснул хорошенько. Тонкое, чистое белье, прекрасное одеяло из белого пике; правда, одна маленькая подушка, но с красивыми кисейными оборками. Так и быть!.. Хоть я и голоден, да зато дай славную высыпку!» Я поторопился лечь; со всего размаха бросился на постелю и так закричал, что Андрей присел от страха. Представьте себе под тонкой простыней одни голые доски! Я схватился за бок — слава богу! все ребра целы. Ну, так и быть! Военный человек не привык спать на пуховике: делать нечего — авось как-нибудь засну; к тому ж одна ночь пройдет скоро. Андрей погасил свечу и улегся на высоком окованном сундуке. Не прошло двух минут, как вдруг целое стадо огромных крыс высыпало из всех углов; пошла стукотня, возня, беготня взад и вперед; одна укусила за ногу Андрея, две пробежали по моему лицу.

— Нет! это уже слишком! Андрюшка! — вскричал я, как бешеный, — ступай отыщи моего извозчика, вели закладывать: я еду сейчас из этого омота. — Помилуйте, сударь! Теперь полночь а мне люди говорили, что здесь в лесу неловко — мародеры... беглые солдаты...

— Вздор! ступай спроси свечу, и чтоб в полчаса нас здесь не было! В самом деле, чрез полчаса я сидел в санях, двое слуг светили мне на крыльце, а толстой экономом объявил с низким поклоном, будто бы господин его до того огорчился моим внезапным отъездом, что не в сила встать с постели и должен отказать себе в

удовольствию проводить меня за ворота своего дома; но надеется, однако ж, что я на возвратном пути... Я не дал договорить этому бездельнику.

— Скажи своему господину, — закричал я, — что если мне случится быть в другой раз его гостем, то это будет не иначе как с целою ротою русских солдат. Пошел! Проводник ударил по лошадям, мы выехали из ворот, и вслед за нами пронесся громкий хохот. «Ах, черт возьми! Негодяй! осмеять таким позорным образом, одурачить русского офицера!» Вся кровь во мне кипела; но свежий ветерок расхолодил в несколько минут этот внутренний жар, и я спросил проводника: нет ли поблизости другой господской мызы? Он отвечал мне, что с полмили от большой дороги живет богатый пан Селява.

— Вези ж меня к этому пану! — сказал я. Поляк повернул в сторону, и мы проселочной дорогой, проложенной сквозь частый лес, который становился все темнее и темнее, выехали через несколько минут на перекресток. Проводник остановил лошадей, призадумался и наконец, пробормотав себе что-то под нос, пустился по узенькой дорожке, которая шла с полверсты влево и потом, поворотя круто в противную сторону, делилась надвое. Поляк остановил опять лошадей, снял шапку, почесал в голове и, оборотясь ко мне, спросил: по какой дороге ему ехать?

— Как по какой? — сказал я, — да разве я знаю?

— И я не знаю, пане!

— Вот-те раз! — вскричал Андрей, — мы заплутались. Экой болван! не знает сам, куда едет.

— Дали бук так! Цо робить, пане? (Ей-богу, так! Что делать, барин? (пол.))

— Ну, делать нечего! — сказал я, — ступай прямо по дороге, авось куда-нибудь выедем. Мы снова двинулись вперед, лес становился все гуще, дорожка же, кругом нас были волки, я дрожал от холода и, признаюсь, жалел от всей души о прежнем ночлеге. Правда, моя спальня была холодновата, но в лесу еще было холоднее и вместо крыс нас могла атаковать целая стая голодных волков, а все оружие мое состояло в одной сабле. Я начинал уже не на шутку беспокоиться, как вдруг мелькнул между деревьями огонек. Слава богу! вот и приют! Поляк обрадовался, замахал кнутом, и мы выехали на обширную луговину, посреди которой стоял низенькой домик, обнесенный высоким частоколом. Ворота были отперты; мы подъехали к крыльцу, и я в провожании моего слуги вошел в переднюю. На простом деревянном столе догорала сальная свечка и слабо освещала стены, увешанные ружьями, пистолетами и ножами. На широкой скамье храпел огромный мужичина в запачканном нагольном тулупе. Свет от пылающего огарка падал прямо ему на лицо. Во всю жизнь мою я не видывал физиономии столь отвратительной и безобразной. Представьте себе красную рожу, изрытую глубокими рябинами, рот до

ушей, плоской нос, немного уже рта, невыбритую бороду и рыжие усы, которые, несмотря на величину свою, покрывали только до половины глубокой рубец, или, лучше сказать, яму на правой щеке его, против самой челюсти. Все это вместе составляло такой верх безобразия, что даже мой Андрей, толкая его под бок, не мог удержаться от невольного восклицания: «Экой леший... дьявол!.. Ай да красавец!» При третьем толчке красавец потянулся, зевнул и поднялся на ноги. «Слушай-ка, любезный! — сказал Андрей, — мы с баринном заплутались; нельзя ли нам здесь переночевать?»

Вместо ответа урод вытаращил на нас свои заспанные глаза и промычал, как годовалый бык.

— Ну, проснись, брат! — продолжал Андрей. — Что ты свои буркалы-то на нас вытаращил? Иль не видишь, что барин мой русской офицер?

Поляк кивнул головою и замычал громче прежнего.

— Да полно мычать-то! Тебя спрашивают толком: можно ли нам здесь переночевать? Поляк раскрыл свою огромную пасть и, показывая на небольшой остаток языка и на свой рубец, провыл жалобным голосом.

— Разве не видишь, что он нем! — сказал я. — Но если он не может говорить сам, то, кажется, понимает, что говорят с ним другие. Послушай, голубчик, нет ли здесь, кроме тебя, кого-нибудь? Немой кивнул головою и вышел вон. Минуты через три дверь во внутренние комнаты стала понемногу растворяться, и к нам заглянула новая харя, под пару прежней, только без усов и в спальном женском чепце. Я сделал шаг вперед, рожа спряталась, дверь захлопнули, и мы остались опять вдвоем с Андреем. Подождав несколько времени, я решился добиться толку и растворил дверь, которую так невежливо заперли у меня под носом. Слабый свет из передней отразился в одном углу темной комнаты, и я хотя с трудом, но рассмотрел, что он завален рогатинами. Вошел опять немой и, дав нам знак рукою идти за ним, провел через сени в небольшую горенку, в которой стояла кровать и накрытый стол. Наш молчаливый проводник, показав мне на графин с водкою, большое блюдо с холодным жарким, поставил на стол свечу и вышел. «Ого, — подумал я, принимаясь за жаркое, — здесь, видно, лучше прежнего моего хозяина знают русскую поговорку: соловья баснями не кормят».

— Но что за странность? — продолжал я вслух, — куда ни взглянешь, везде оружие. Этот дом настоящий арсенал! Вот и здесь висят пистолеты.

— Только без кремней, — прибавил мой слуга, — а в передней все ружья в исправности. А ножей-то, ножей!.. Ох, сударь!.. мне это что-то подозрительно. Куда это мы с вами запропастились?

— Трус! тебе все мерещатся разбойники. На, ешь да ложись спать; вон, кажется, там и для тебя подкинута постеленка.

— А разве вы не изволите раздеваться?

— Нет! я завернусь в шинель; сосну часика три, а там и в дорогу.

Глаза мои смыкались от усталости; и прежде, чем Андрей окончил свой ужин, я спал уже крепким сном. Не знаю, долго ли он продолжался, только вдруг я почувствовал, что меня будят. Я проснулся — вокруг все темно; подле меня, за дощатой перегородкой, смешанные голоса, и кто-то шепчет: «Тише!.. бога ради, тише! Не говорите ни слова». Это был мой Андрей, который, дрожа всем телом, продолжал мне шептать на ухо: «Ну, сударь, пропали мы!..»

— Что ты говоришь?

— Тише! ради Христа тише!.. Мы у разбойников.

— Как у разбойников?..

— Молчите и слушайте!

Я замолчал и, едва переводя дух, стал внимательно прислушиваться.

— Да, брат, поработали мы сегодня порядком! — говорил кто-то за перегородкой на чистом польском языке. — Нех его вшиscopy дьябли везмо!.. (Ну его к дьяволу!.. (пол.)) Как он возился с нами — насилу угомонили!

— Справились бы вы с ним без меня! — перервав охрипый, отвратительный бас. — Да, да, ребята! если б я не подоспел в пору, так вам бы жутко пришлось. А что? каково я хватил его рогатиною? Небось — не промахнулся.

— Воля ваша, — заговорил кто-то довольно приятным голосом, — смейтесь надо мной, если хотите, а я, право, досаую, что пошел к вам в товарищи, Эй, господа! поверьте мне, рано ли, поздно ли, а нам беды не миновать и что за радость? прибыли мало...

— Да зато потехи много! — пропищал кто-то тоненьким голоском.

— Хороша потеха! Десятеро на одного. Вспомнить не могу — бедняжка! как он застонал, когда повалился наземь.

— Вот еще какой сердечкин! — перервал охрипый бас с громким хохотом. — Небось ты по головке бы его погладил?

— Да я таки и приласкал его по головке прикладом! — подхватил первый голос. — Экой живущой — провал бы его взял! Две пули навывлет, рогатина в боку, а все еще шевелился. Е, пан Будинской! посмотри-ка на себя! у тебя руки и все платье в крови! Поди умойся.

— Постой, дай прежде выпить, — отвечал грубый голос. — Гей, водки! Можете себе представить, каково мне было слушать этот зверской разговор. После минутного молчания тот же бас заревел:

— Что ж водки-та! Гей, панна Казимира! Панна Казимира! ну, поворачивайся проворней!

— Тише, пан! — заговорил женской голос, — вы этак разбудите проезжих. Меня обдало с головы до ног холодом. «Ну! — подумал я, — доходит и до нас дело».

— Каких проезжих? — спросил тонкой голос.

— Какой-то русской офицер с слугою. Они заплутались и заехали сюда.

— Добро пожаловать! — сказал вполголоса охрипый бас.

— Да где же они?

— Вот здесь — за стеною.

Тут голоса притихли. Я приложил ухо к перегородке и с трудом вслушался в несколько отрывистых фраз. Казалось, тот же охрипый бас говорил вполголоса:

— Да, да, Казимира, скажи, чтоб фурмана с лошадьми отпустили: наш гость завтра не поедет.

— Слышите ль, сударь? — шепнул Андрей дрожащим голосом.

— Мы угостим его по-своему! — продолжал бас. — Пойдемте отсюда, братцы. Ян! как съедут со двора, ворота запереть и спустить собак.

«Хорошо угощенье!» — подумал я, чувствуя во всем теле что-то похожее на лихорадочный озноб.

— Ну, сударь! — сказал Андрей, когда все утихло за перегородкою.

— Да, мой друг! нет сомненья: мы у разбойников.

— Что нам делать?

— Спасаться, пока еще можно.

— Но как, сударь? Весь дом набит людьми.

— Подождем, пока все улягутся.

— А если ворота будут заперты?

— Мы перелезем через забор. Но молчи! если догадаются, что мы не спим...

— Боже сохрани! тут нам и карачун. Прошло с полчаса; наш проводник съехал со двора, ворота заперли, и, казалось, кругом нас все затихло. Андрей отворил потихоньку дверь, заглянул в сени: в них не было никого. Я надел шинель, подпоясался шарфом и, держа в руках обнаженную саблю, вышел вместе с ним на крыльцо. Начинало уже светать; окинув быстрым взглядом весь двор, я заметил, что в одном углу забора недоставало нескольких частоколин и можно было без труда пролезть в отверстие. Кругом дремучий лес; если успеем до него добраться — мы спасены. Потихоньку, почти ползком, мы прокрались вдоль стены к углу дома. Забор от нас в пяти шагах... еще несколько минут, и мы на свободе!.. Вдруг две огромные меделянские собаки бросаются к нам навстречу... Я был впереди и успел выскочить в отверстие. Но бедный Андрей — ах! я слышал его

отчаянный крик, который сливался с лаем собак и громкими голосами людей, выбегающих из дома. Я мог остаться, мог умереть вместе с ним; но спасти его было невозможно. А если мне посчастливится уйти от разбойников, то в первой деревне я найду помощь, ворочусь с вооруженными людьми и, может быть, застану его еще в живых. Вот что думал я, спеша добежать до лесу. Я был уже на половине дороги, как вдруг слышу позади себя близкой лай; оглядываюсь — о ужас!.. За мной гонится одна из собак. Я собираю все мои силы — не бегу, а лечу... страх — да, господа, признаюсь — страх придает мне крылья. Вот уже я в лесу — бегу куда глаза глядят, перепрыгиваю через кусты, колоды, валежник... Проклятая собака, как тень, следует за мною; она уже в двух шагах; я слышу ее удушливое дыхание... Принужденный защищаться, я останавливаюсь и, прислонясь к толстому дереву, начинаю отмахиваться моею саблею. Злобная собака вертится, прыгает вокруг меня. Ужасный рев ее раздается по всему лесу, и пена бьет клубом из ее открытой пасти. Несколько раз я пытался нападать на нее сам, но всякой раз без успеха; казалось, она отгадывала вперед все мои движения: то бросалась в сторону, то отскакивала назад, и все сабельные мои удары падали на безвинные деревья и кусты. Наконец зло взяло и меня... Я бешусь, рублю сплеча во все стороны: кругом меня справа и слева летят щепы, а проклятая собака целехонька и час от часу становится неотвязчивее.

— Постой-ка! — прервал Зарядьев. — Посмотрите, господа! Что это такое — вон там за кустами?

— Где? — спросил Сборской, взглянув в окно.

— Ну, вон! против нашей квартиры.

— Я ничего не вижу.

— И я теперь не вижу ничего, а право, мне показалось, что там мелькнуло что-то похожее на штык.

— И полно, братец! Тебе все чудятся штыки, да ружья! Нужно было перервать Ленского в самом интересном месте. И тебе охота его слушать? Рассказывай, братец! Зарядьев, не отвечая ничего, продолжал смотреть в окно, а Ленской начал снова.

— Более четверти часа продолжался этот неравный бой; я начал уставать, сабля едва держалась в ослабевшей руке моей. Вдруг послышались шаги поспешно идущих людей; собака, почуяв приближающуюся к ней помощь, ощерилась, заревела, как тигр, и кинулась мне прямо на грудь. Я опустил саблю, но удар пришелся плашмя и не сделал ей никакого вреда; а собака, вцепясь зубами в мою шинель, прижала меня плотно к дереву. Вокруг меня загремели голоса: «Сюда! сюда! он здесь!.. вот он!» — и человек шесть с фонарями выбежали из-за кустов. Сердце у меня замерло, руки опустились, и я должен

вам признаться, что в эту решительную минуту страх был единственным моим чувством. Но прошу не очень забавляться на мой счет: погибнуть на поле чести, среди своих товарищей, или умереть безвестной смертью, под ножами подлых убийц... Да, господа, кто не испытал этой чертовской разницы, тот не может и не должен смеяться надо мною. Разбойники вместо того, чтоб воспользоваться беззащитным моим положением, стащили с меня собаку. Чувство свободы возвратило мне всю мою бодрость. — Злодеи! — закричали, — чего вы от меня хотите? Все, что я имею, осталось у вас; а если вам нужна жизнь моя...

— Господин офицер! — перервал кто-то знакомым уже для меня хриплым басом, — вы ошибаетесь: мы не разбойники.

— Не разбойники?.. А мой несчастный слуга?..

— Я здесь, сударь! — закричал Андрей, выступи из толпы.

— Да, господин офицер! — продолжал тот же басистый незнакомец, — мы точно не разбойники; а чтоб вернее вам это доказать, честь имею представить вам здешнего капитан-исправника.

«Плохое доказательство!» — подумал бы я в другое время, но в эту минуту мне было не до шуток.

— Позвольте мне рекомендовать себя, — сказал тоненьким голосом сухошавый и длинный мужчина.

— Что ж значит, — спросил я, не выпуская из рук моей сабли, — этот уединенный дом, оружие?..

— Это мой охотничий хутор, — подхватил толстоголосый господин, — а я сам здешний поветовый маршал, помещик Селява; мое село в пяти верстах отсюда...

— Возможно ли?.. Но разговор, который я слышал: убийство... кровь...

— О! в этом уголовном преступлении мы заператься не станем, — запищал исправник, — мы нынче ночью били медведя.

— Медведя?..

— Да, господин офицер! — прибавил пан Селява, — и если вам угодно на него взглянуть... диковинка! Медведище аршин трех, с проседью...

— А для чего вы услали моего проводника?

— Для того, чтоб иметь удовольствие удержать вас завтра у себя, а послезавтра на своих лошадях доставить на первую станцию.



Не знаю сам, какое чувство было во мне сильнее: радость ли, что я попал к добрым людям вместо разбойников, или стыд, что ошибся таким глупым и смешным образом. Я от всей души согласился на желание пана Селявы; весь этот день пропировал с ним вместе и не забуду никогда его хлебосольства и ласкового обхождения. На другой день...

— Что это? — вскричал Зарядьев. Вдруг раздался выстрел; ружейная пуля, прорезав стекло, ударила в медный подсвечник и сшибла его со стола.

— Что это значит? — спросил Сборской. — Еще!..

— Французы! Французы!.. — закричала хозяйка, вбегая в комнату.

Офицеры бросились опрометью вон из избы.

Хозяйка кинулась вслед за ними, заперла

ключом дверь и спряталась в погреб. Все это сделалось в течение какой-нибудь полуминуты и прежде, чем Зарядьев успел выдаться из-под стола, который во время суматохи опрокинулся на его сторону. Меж тем французы зажгли один крестьянский дом, рассыпались по улице, и пальба беспрестанно усиливалась. Зарядьев старался выломать дверь, как полоумный бросался из угла в угол, каждый выстрел попадал ему прямо в сердце. «Боже мой! Боже мой!.. — кричал он, — если б я мог!..» Он схватил стул, вышиб раму и кинулся в окно. Но бедный капитан забыл в суетах о своем майорском чреве: высунувшись до полог-вины в окно, он завяз и, несмотря на все свои усилия, не мог пошевелиться. Пули с визгом летали по улице, свистели над его головою, но ему было не до них; при свете пожара он видел, как неприятельские стрелки, бегали взад и вперед, стреляли по домам, кололи штыками встречающихся им русских солдат, а рота не строилась... «К ружью! выходи! — кричал во все горло Зарядьев, стараясь высунуться как можно более. — Я вас, негодные!.. Завтра же фельдфебеля в солдаты — я дам ему знать!.. Ну, слава богу!.. Залп! другой! Живей, ребята!.. живей! вот так! Стрелки, вперед!.. Катай их, разбойников!»

Но не один Зарядьев кричал как сумасшедший: французский офицер в гусарском мундире, с подвязанной рукой, бегал по улице и командовал во весь голос, как на ученье: «Feu mes

enfants — feu! visez bien!.. aux officiers! En avant!..» (Огонь, ребята, огонь! цельтесь хорошенько!.. по офицерам! Вперед! (фр.)) Несколько минут продолжалась эта ужасная суматоха; наконец большая часть роты выстроилась на сборном месте; Двинской и другие офицеры ударили с нею на французов, и началась упорная перестрелка. Неприятели стали подаваться назад, вдруг сделали залп и бросились в кусты. Двинской скомандовал вперед; но из-за кустов посыпались пули, и он должен был снова приостановиться. Перестрелка стала утихать, наши стрелки побежали в кусты; мимоходом захватили человек пять отсталых неприятелей и, добежав до морского берега, увидели две лодки, которые шли назад, в Данциг, и были уже вне наших выстрелов. Офицеры поспешили возвратиться скорей в деревню, помочь обывателям тушить пожар.

— Ах, черт возьми! — сказал Сборской, подходя к деревне, — какой нечаянный визит, и, верно, это проказит Шамбюр. Однако ж, господа! куда девался наш капитан?

— Я слышал его голос, — отвечал Двинской, — а самого не видал. — Уж не убит ли он?.. Но что это за крик?

Офицеры и человек десять солдат побежали на голос, и что ж представилось их взорам? Зарядьев, в описанном уже нами положении, бледный как смерть, кричал отчаянным голосом: «Помогите, помогите!.. горю!» Офицеры кинулись в избу, выломали дверь, и густой дым столбом повалил им навстречу. Позади несчастного капитана пылал опрокинутый стол; во время тревоги никто не заметил, что свеча, которую сшибло пулею со стола, не погасла; от нее загорелась скатерть; а как тушить было некому, то вскоре весь стол запылал. Тотчас залили огонь; но гораздо труднее было протащить назад в избу Зарядьева, который напугался до того, что продолжал реветь в истошный голос даже и тогда, когда огонь был потушен. Кой-как толстый капитан выдрался из окна; минуты две смотрел он на всех молча, хватал себя за ноги и ощупывал подошвы, которые почти совсем прогорели.

— Тьфу, батюшки! — сказал он наконец, — ну оказия! ух! опомниться не могу!.. Эй, трубку!

— Что, брат? — сказал Сборской, — не за тобой ли теперь очередь рассказывать историю твоего испуга?

— Чего тут рассказывать; разве вы не видели? Провал бы его взял! Ведь это был разбойник Шамбюр.

— Пленные говорят, что он, — сказал Двинской.

— И, дурачье! не умели его подстрелить — ротозей!.. Где мой кисет?

— Спасибо Шамбюру, — перервал Сборской, — теперь не станешь перед нами чваниться. Что, чай, скажешь, не струсил?

— Не струсил! — повторил Зарядьев сквозь зубы, набивая свою трубку. — Нет, брат; струсил поневоле, как примутся тебя жарить маленьким огоньком и начнут с пяток. Что ты, Демин? — продолжал капитан, увидя вошедшего унтер-офицера.

— Дежурный по роте, ваше благородие! Сейчас делали перекличку: убитых поднято пять, да ранено двенадцать рядовых и один унтер-офицер.

— Кто? — спросил Зарядьев. — Я, ваше благородие!

— Во что?

— В правую руку.

— Ах, боже мой, — вскричал Сборской, — у него вся кисть раздроблена, а он даже и не морщится!

— Верно, сгоряча не чувствуешь? — спросил Ленской.

— Никак нет, ваше благородие! больно мозжит.

— Что ж ты нейдешь к лекарю? — закричал Зарядьев. — Пошел скорей, дурак!

— Слушаю, ваше благородие! — Демин сделал налево кругом и вышел вон из избы.

— А где Рославлев? — спросил Сборской.

— Я его не видел, — ответил Ленской.

— И я, — прибавил Двинской.

— Ах, боже мой! — вскричал Сборской, — теперь я вспомнил: мы ушли задними воротами, а он прямо выскочил на улицу.

— Уж не убит ли он? — сказал Зарядьев. — Сохрани боже!.. Но, может быть, он тяжело ранен и лежит теперь где-нибудь без всякой помощи. Эй, хозяйка! фонарь! За мной, господа! Бедный Рославлев!

Все офицеры выбежали из избы; к ним присоединилось человек пятьдесят солдат. Место сражения было не слишком обширно, и в несколько минут на улице все уголки были обшарены. В кустах нашли трех убитых неприятелей, но Рославлева нигде не было. Наконец вся толпа вышла на морской берег.

— Вот где они причаливали, — сказал Ленской. — Посмотрите! второпях два весла и багор забыли. А это что белеется подле куста? Зарядьев наклонился и поднял белую фуражку.

— Кавалерийская фуражка! — закричал Сборской. — Она была на Рославлеве, когда мы выбежали из избы; но где же он?

— Если жив, — ответил Двинской, — так недалеко теперь от Данцига. — Он в плену! Бедный Рославлев!

— Эх, жаль!.. — сказал Ленской, — в Данциге умирают с голода, а он, бедняжка, не успел и перекусить с нами! Ну, делать нечего, господа, пойдемте ужинать.

ГЛАВА VI

Данцигские жители, а особливо те, которые не были далее пограничного с ними прусского городка Дершау, говорят всегда с заметною гордостью о своем великолепном городе; есть даже немецкая песня, которая начинается следующими словами: «О Данциг, о Данциг, о чудесно красивый город!» («O Danzig, o Danzig, o wunderschone Stadt» — Прим. автора.) И когда речь дойдет до главной площади, называемой Ланд-Газ, то восторг их превращался в совершенное иступление. По их словам, нет в мире площади прекраснее и величественнее этой, потому что она застроена со всех сторон отличными зданиями, которые хотя и походят на карточные домики, но зато высоки, пестры и отменно фигурны. Конечно, эта обширная площадь не длиннее ста шагов и гораздо уже всякой широкой петербургской или берлинской улицы, но в сравнении с коридорами и ущелинами, которые данцигские жители не стыдятся называть улицами и переулками, она действительно походит на что-то огромное, и если бы средину ее не занимал чугунный Нептун на дельфинах, из которых льется по праздникам вода, то этот Ланд-Газ был бы, без сомнения, гораздо просторнее московского Екзерцир-гауза!

Над дверьми одного из угольных домов сей знаменитой площади красивая вывеска с надписью на французском языке извещала всех прохожих, что тут помещается лучшая кондитерская лавка в городе, под названием: «Cafe Francais» («Французское кафе»). Внутри, за наложенным ореховым прилавком, сидела худошавая мадам в розовой гирлянде и крупном янтарном ожерелье. Она с приметным горем посматривала на пустые шкалы своей лавки, в которых, вероятно также вроде вывески, стояли два огромные паштета из картузной бумаги. При входе каждого нового посетителя мадам вежливо привставала и спрашивала с нежной улыбкою: «Ке фуле-фу, монсье? — Чего вам угодно, сударь?» Обыкновенно требования ограничивались чашкой кофея или шоколада; но о хлебе, кренделях, сухарях и вообще о том, что может утолять голод, и в помине не было. В одном углу комнаты, за небольшим столом, пили кофею трое французских офицеров, заедая его порционным хлебом, который принесли с собою. Один из них, с смуглым лицом, без руки, казался очень печальным; другой, краснощекой толстяк, прихлебывал с расстановкою свой кофею, как человек, отдыхающий после сытного обеда; а третий, молодой кавалерист, с веселой и открытой физиономиею, обмакивая свой хлеб в чашку, напевал сквозь зубы какие-то куплеты. Поодаль от них сидел, задумавшись, подле окна молодой человек, закутанный в серую шинель; перед ним стояла недопитая рюмка ликера и лежал ломоть черствого хлеба.

— Перестанешь ли ты хмуриться, Мильсан? — сказал, допив свою чашку, краснощекой толстяк.

— Да чему прикажете мне радоваться? — отвечал безрукой офицер. — Не тому ли, что мне вместо головы оторвало руку?

— Ну, право, ты не француз! — продолжал толстой офицер, — всякая безделка опечалит тебя на несколько месяцев. Конечно, досадно, что отпилили твою левую руку; но зато у тебя осталась правая, а сверх того полторы тысячи франков пенсии, который тебе следует...

— И за которым мне придется ехать в луну? — перервал Мильсан.

— Нет, не в луну, а в Париж. Император никогда не забывал награждать изувеченных на службе офицеров.

— Император! Да! ему теперь до этого; после проклятого сражения под Лейпцигом...

— Да что ты, Мильсан, веришь русским? — вскричал молодой кавалерист, — ведь теперь за них мороз не станет драться; а бедные немцы так привыкли от нас бегать, что им в голову не придет порядком схватиться — и с кем же?.. с самим императором! Русские нарочно выдумали это известие, чтоб мы скорей сдались, *Ils sont malins ces barbares!* (Они хитры, эти варвары! (фр.)) Не правда ли, господин Папилью? — продолжал он, относясь к толстому офицеру. — Вы часто бываете у Раппа и должны знать лучше нашего...

— Да, — отвечал Папилью, — я и сегодня обедал у его превосходительства. Черт возьми, где он достал такого славного повара? Какой бивстекс сделал нам этот бездельник из лошадиного мяса!.. Поверите ли, господин Розенган...

— Не об этом речь, — перервал кавалерист, — что говорит генерал о лейпцигском сражении?

— Он говорит, что это может быть неправда, и велел даже взять под арест флорентийского купца, который дней пять тому назад рассказывал здесь с такими подробностями об этом деле.

— Как! Вот этого чудака, который ходил со мною на Бишефсберг для того только, чтоб посмотреть, как русские действуют против наших батарей?

— Да, его.

— Эх, жаль! он презабавный оригинал. Мы, кажется, с Шамбюром не трусы; но недолго пробыли на верхней батарее, которую, можно сказать, осыпало неприятельскими ядрами, а этот чудака расположился на ней, как дома; закурил трубку и пустился в такие разговоры с нашими артиллеристами, что они рты разинули, и что всего забавнее — рассердился страх на русских, и знаете ли за что?.. За то, что они мало делают нам вреда и не стреляют по нашим батареям навесными выстрелами. Шамбюр, у которого голова также немножко наизнанку, без памяти от этого оригинала и старался всячески завербовать его в свою адскую роту; но господин купец отвечал ему преважно: что он мирный гражданин, что это

не его дело, что у него в отечестве жена и дети; принялся нам изъяснять, в чем состоят обязанности отца семейства, как он должен беречь себя, дорожить своею жизнью, и кончил тем, что пошел опять на батарею смотреть, как летают русские бомбы.

— А знаете ли, — сказал толстый офицер, — что этот храбрец очень подозрителен? Кроме одного здешнего купца Сандерса, никто его не знает, и генерал Рапп стал было сомневаться, точно ли он итальянской купец; но когда его привели при мне к генералу, то все ответы его были так ясны, так положительны; он стал говорить с одним итальянским офицером таким чистым флорентийским наречием, описал ему с такою подробностью свой дом и родственные свои связи, что добрый Рапп решился было выпустить его из-под ареста; но генерал Дерикур пошептал ему что-то на ухо, и купца отвели опять в тюрьму.

— Жаль, если надобно будет его расстрелять, — сказал кавалерийской офицер. Вдруг раздался ужасный треск; брошенная из траншей бомба упала на кровлю дома; черепицы, как дождь, посыпались на улицу. Пробив три верхние этажа, бомба упала на потолок той комнаты, где беседовали офицеры. Через несколько секунд раздался оглушающий взрыв, от которого, казалось, весь дом поколебался на своем основании.

— Гер Иезус! — закричала мадам.

— Проклятые русские! — сказал кавалерийской офицер, стряхивая с себя мелкие куски штукатурки, которые падали ему на голову. — Пора унять этих варваров!

— Тише, Розенган! — шепнул Мильсан, — зачем оскорблять этого пленного офицера? Кавалерист оборотился к окну, подле которого сидел молодой человек в серой шинели; казалось, взрыв бомбы нимало его не потревожил. Задумчивый и неподвижный взор его был устремлен по-прежнему на одну из стен комнаты, но, по-видимому, он вовсе не рассматривал повешенного на ней портрета Фридерика Великого.

— Что вы так задумались? — спросил его кавалерийской офицер. — Не хотите ли, господин Рас... Рос... Рис... pardon!.. никак не могу выговорить вашего имени; не хотите ли выпить с нами чашку кофею?

— Да, да, monsieur Росавлев, — подхватил толстый Папилью, — милости просим к нам поближе.

Рославлев отвечал учтивым поклоном на приглашение офицеров, но остался на прежнем месте.

— Мне кажется, он мог бы быть повежливее, — сказал вполголоса и с досадою кавалерист, — когда мы делаем ему честь... l'impertinent! (нахал! (фр.))

— Фи, Розенган! — перервал безрукой офицер, — как тебе не стыдно! Надобно уважать несчастье во всяком, а особливо в пленном неприятеле. Неужели ты не чувствуешь, как ему тяжело слушать наши разговоры; а особливо, когда ты примешься описывать

бессмертные подвиги императорской гвардии? Вчера он побледнел, слушая твой красноречивый рассказ о нашем переходе через Березину. По твоим словам, на каждого французского гренадера было по целому полку русских солдат. Послушай, Розенган! когда дело идет о нашей национальной славе, то ты настоящий гасконец. Конечно, нам весело тебя слушать; а каково ему?

— А, Рено! *bonjour, mon ami!* — закричал Папилью, идя навстречу к жандармскому офицеру, который вошел в кофейную лавку. — Ну, нет ли чего-нибудь новенького?

— Покамест ничего, — отвечал жандарм, окинув беглым взглядом всю комнату. — А! он здесь, — продолжал Рено, увидев Рославлева. — Ведь, кажется, этот пленный офицер говорит по-французски?

— Да! — отвечал Папилью, — так что ж?

— А вот что: мне дано не слишком приятное поручение — я должен отвести его в тюрьму.

— В тюрьму? за что?

— По городу распространились очень невыгодные для нас слухи; говорят, что большая армия совершенно истреблена. Это может сделать весьма дурное впечатление на весь гарнизон.

— Да что ж общего между этим ложным известием и этим пленным офицером?

— Его превосходительство генерал Рапп уверен, что эти слухи распространяют пленные офицеры; а как всего вероятнее, что те из них, которые говорят по-французски, имеют к этому более способов...

— А, понимаю! Впрочем, кажется, этого пленного офицера нельзя упрекнуть в многогочии: он почти всегда молчит.

— Быть может, но я должен отвести его в тюрьму. Впрочем, на это есть и другие причины, — прибавил жандарм значительным голосом.

— Право? не можете ли вы мне сказать?

— Вот извольте видеть: это небольшая хитрость, придуманная генералом Дерикуром; и признаюсь — выдумка прекрасная! Она сделала бы честь не только начальнику штаба, но даже и нашему брату жандарму. Вы знаете, что по приказанию Раппа сидит теперь в тюрьме какой-то флорентийский купец; не знаю почему, генерал Дерикур подозревает, что он русской шпион. Чтоб как-нибудь увериться в этом, он придумай запереть вместе с ним этого пленного офицера, а мне приказал подслушивать их разговоры. Если купец действительно русской, то не может быть, чтоб у него не вырвалось в течение нескольких часов слова два или три русских. Желание поговорить на своем природном языке так естественно; а сверх того, ему в голову не придет, что в одном углу тюрьмы сделано

отверстие вроде Дионисьева уха и что каждое их слово, даже шепотом сказанное, будет явственно слышно в другой комнате.

— Вот что? Ну, в самом деле прекрасная выдумка! Я всегда замечал в этом Дерикуре необычайные способности; однако ж не говорите ничего нашим молодым людям; рубиться с неприятелем, брать батареи — это их дело; а всякая хитрость, как бы умно она ни была придумана, кажется им недостойною храброго офицера. Чего доброго, пожалуй, они скажут, что за эту прекрасную выдумку надобно произвести Дерикюра в полицейские комиссары.

— Неужели? Знаете ли, что это отзывается каким-то либерализмом, который совершенно противен духу нашего правления, и если император не возьмет самых строгих мер...

— Император! Да известно ли вам, как эти господа о нем поговаривают? Конечно, они и теперь готовы за него и в огонь и в воду; но, признаюсь, я уж давно не замечаю в них этой безусловной покорности, этого всегдашнего удивления к каждому его действию. Представьте себе: они даже осмеливаются иногда осуждать его распоряжения. Вот несколько дней тому назад один из них — я не назову его: я не доносчик — имел дерзость сказать вслух, что император дурно сделал, ввезя в Россию на несколько миллионов фальшивых ассигнаций, и что никакие политические причины не могут оправдать поступка, за который во всех благоустроенных государствах вешают и ссылают на галеры.

— Тише! Бога ради тише! Что вы? Я не слышал, что вы сказали... не хочу знать... не знаю... Боже мой! до чего мы дожили! какой разврат! Ну что после этого может быть священным для нашей безумной молодежи? Но извините: мне надобно исполнить приказание генерала Дерикюра. Милостивый государь! — Продолжал жандарм, подойдя к Рославлеву, — на меня возложена весьма неприятная обязанность; но вы сами военный человек и знаете, что долг службы... не угодно ли вам идти со мною?

— Куда, сударь? — спросил спокойно Рославлев, вставая со стула.

— Некоторые ложные слухи, распускаемые по городу врагами французов, вынуждают генерала Раппа прибегнуть к мерам строгости, весьма неприятным для его доброго сердца. Всех пленных офицеров приказано держать под караулом.

— Для чего не в цепях? — прибавил с горькою улыбкою Рославлев, — это еще будет вернее; а то, в самом деле, мы можем перепрыгнуть через городской вал и уйти из крепости.

В ту самую минуту, как Рославлев собирался идти за жандармом, вбежал в комнату молодой человек лет двадцати двух, в богатом гусарском мундире и большой медвежьей шапке; он был вооружен не саблею, а коротким заткнутым за пояс трехгранным кинжалом; необыкновенная живость изображалась на его миловидном лице; небольшие

закрученные кверху усы и эспаниолетка придавали воинственный вид его выразительной, но несколько женообразной физиономии. С первого взгляда можно было заметить, что он действовал одной левой рукою, а правая казалась как будто бы приделанною к плечу и была без всякого движения.

— Здравствуйте, monsieur Волдемар! — сказал он, переступя через порог. — Куда вы?

— Куда вы, верно, со мной не пойдете, Шамбюр! — отвечал Рославлев, приостановясь на минуту. — Меня ведут в тюрьму.

— Как! — вскричал Шамбюр, — в тюрьму? зачем?.. за что?..

— Спросите у этого господина.

— Что это значит, Рено? — сказал Шамбюр, остановя жандарма. — Что такое сделал Рославлев?

— Надеюсь, ничего, за что бы он мог отвечать, это одна мера осторожности. Какие-то ложные слухи тревожат гарнизон, а как, вероятно, их распускают по городу пленные офицеры...

— Почему вы это думаете?

— Так думает генерал Рапп; я исполняю только его приказание.

— Неправда, сударь, не его! Генерал Рапп бьет без пощады вооруженных неприятелей, но никогда не станет тиранить беззащитных пленных. Говорите правду, от кого вы получили приказание посадить его в тюрьму.

— Я не обязан вам давать отчета, господин Шамбюр!

— Однако ж дадите! — вскричал гусар, и глаза его засверкали. — Знаете ли вы, господин жандарм, что этот офицер мой пленник? я вырвал его из середины русского войска; он принадлежит мне; он моя собственность, и никто в целом мире не волен располагать им без моего согласия.

— Что вы, Шамбюр! — перервал Папилью, — господин Рославлев военнопленный, и начальство имеет полное право...

— Нет, черт возьми! Нет! — вскричал Шамбюр, топнув ногою, — я не допущу никого обижать моего пленника: он под моей защитой, и если бы сам Рапп захотел притеснять его, то и тогда — *cent mille diables!* (сто тысяч чертей! (фр.)) — да, и тогда бы я не дал его в обиду!

— Успокойтесь, любезный Шамбюр, — сказал Рославлев, — вы не должны противиться воле вашего начальства.

— Так пусть же оно докажет мне, что вы виноваты. Вы живете со мною, я знаю вас. Вы не станете употреблять этого низкого средства, чтоб беспокоить умы французских солдат; вы офицер, а не шпион, и я решительно хочу знать: в чем вас обвиняют?

— Это может вам объяснить его превосходительство господин Рапп, а не я, — сказал Рено, — а между тем прошу вас не мешать мне исполнять мою обязанность; в противном случае — извините! я вынужден буду позвать жандармов.

— Жандармов! *Sacre mille tonnerres!* (Гром и молния! (фр.)) Стращать Шамбюра жандармами! — проговорил прерывающимся от бешенства голосом Шамбюр.

— Не дурачься, Шамбюр, — подхватил Розенган, заметя, что вспыльчивый гусар схватился левой рукой за рукоятку своего кинжала. Папилью и Мильсан подошли также к Шамбюру и стали его уговаривать.

— Хорошо, господа, хорошо! — сказал он наконец, — пускай срамят этой несправедливостью имя французских солдат. Бросить в тюрьму по одному подозрению беззащитного пленника, — *quelle indignite* (какая гнусность! (фр.)). Хорошо, возьмите его, а я сейчас поеду к Раппу: он не жандармской офицер и понимает, что такое честь. Прощайте, Рославлев! Мы скоро увидимся. Извините меня! Если б я знал, что с вами будут поступать таким гнусным образом, то велел бы вас приколоть, а не взял бы в плен. До свиданья!

Рославлев и Рено вышли из кафе и пустились по Ланд-Газу, узкой улице, ведущей в предместье, или, лучше сказать, в ту часть города, которая находится между укрепленным валом и внутренней стеною Данцига. Они остановились у высокого дома с небольшими окнами. Рено застучал тяжелой скобою; через полминуты дверь заскрипела на своих толстых петлях, и они вошли в темные сени, где тюремный страж; в полувоинственном наряде, отвесив жандарму низкой поклон, повел их вверх по крутой лестнице.

— Чтоб вам не было скучно, — сказал Рено, — я помещу вас вместе с одним итальянским купцом; он человек умный, много путешествовал, и разговор его весьма приятен. К тому ж вам будет полная свобода; в вашей комнате все стены капитальные: вы можете шуметь, петь, кричать, одним словом, делать все, что вам угодно; вы этим никого не беспокоите, и даже, если б вам вздумалось, — прибавил с улыбкою Рено, — сделать этого купца поверенным каких-нибудь сердечных тайн, то не бойтесь: никто не подслушает имени вашей любезной.

Тюремщик отворил дубовую дверь, окованную железом, и они вошли в просторную комнату с одним окном. В ней стояли две кровати, небольшой стол и несколько стульев. На одном из них сидел человек лет за тридцать, в синем сюртуке. Лицо его было бледно, усталость и совершенное изнурение сил ясно изображались на впалых щеках его; но взор его был спокоен и все черты лица выражали какое-то ледяное равнодушие и даже бесчувственность.

— Вот ваш товарищ, — сказал жандарм Рославлеву, — познакомьтесь!

Рославлев сделал шаг вперед, хотел что-то сказать, но слова замерли на устах его: он узнал в итальянском купце артиллерийского офицера, с которым готов был некогда стреляться в Царскосельском зверинце.

— Я очень рад, что буду иметь такого любезного товарища, — сказал купец, устремив свой неподвижный взор на Рославлева. — Может быть, мы где-нибудь и встречались; но я уверен, что вы меня теперь не узнаете; в тюрьме не хорошеют. Рославлеву нетрудно было понять настоящий смысл этой фразы; он отвечал вежливо, что, кажется, видел его однажды в французском кафе, и, не продолжая разговора, расположился молча на другом стуле.

Рено, сказав Рославлеву, что он надеется скоро видеть его свободным, вышел из комнаты; дверь захлопнулась, и через несколько секунд глубокая тишина воцарилась кругом заключенных. Рославлев хотел начать разговор с своим товарищем; но он прижал ко рту палец и, помолчав несколько времени, сказал по-французски:

— Если не ошибаюсь, вы офицер прусской службы?

— Извините! — отвечал Рославлев, не понимая причины этой чрезмерной осторожности, — я русской офицер.

— Русской? И недавно в плену?

— Более двух недель.

— Следовательно, известие о лейпцигском сражении пришло после вас, и вы не знаете ничего достоверного?

— Ничего.

— Это жаль. Если действительно сражение проиграно французами, то курс должен упасть; следовательно, дела моих лейпцигских корреспондентов в худом положении. Впрочем, это, может быть, одни пустые слухи. Наполеон не мог сражаться с стихиями; но там, где они не против него, где ничто не мешает движениям войск, может ли победа остаться на стороне его неприятелей? Не подосадуйте на мою откровенность, а мне кажется, что русские напрасно не остались дома; обширные степи и вечные льды — вот что составляет истинную силу России. Ваше дело обороняться, а не нападать. Но извините: мне необходимо кончить небольшой коммерческий расчет, который я делаю здесь на просторе. Надобно быть готовым на всякой случай, и если в самом деле курс на итальянские векселя должен упасть в Лейпциге, то не худо взять заранее свои меры. Купец вынул из кармана клочок бумаги, карандаш и принялся писать. Рославлев глядел на него с удивлением. Он не мог сомневаться, что видит перед собою старинного своего знакомого, того молчаливого офицера, который дышал ненавистью к французам; но в то же самое время не постигал причины, побуждающей его изъясняться таким странным

образом.

— Потрудитесь взглянуть, — сказал этот чудака, подавая Рославлеву клочок бумаги, — я не слишком на себя надеюсь, голова моя что-то очень тяжела; если б вы сделали мне милость и проверили мои итоги?

Рославлев бросил быстрый взгляд на исписанную кругом бумажку и прочел следующее: «Будьте осторожны: нас, верно, подслушивают. Рапп подозревает, что я русской; одно слово на этом языке может погубить меня. Я не боюсь смерти, но желал бы умереть, не доставя ни одной минуты удовольствия французам; а эти негодяи очень обрадуются, когда узнают, кто у них в руках. Во сне я всегда брежу вслух и, разумеется, по-русски. Вот уж три ночи я не сплю; чувствую, что не в силах долее бороться с самим собою; при вас я могу заснуть. Лишь только вы заметите, что я хочу говорить, — зажмите мне рот, будите меня, толкайте, бейте, только бога ради не давайте выговорить ни слова. Вас, верно, прежде моего выпустят из тюрьмы. Ступайте на Театральную площадь; против самого театра, в пятом этаже высокого красного дома, в комнате под номером шестым, живет одна женщина, она была отчаянно больна. Если вы ее застанете в живых, то скажите, что итальянской купец Дольчини просит ее сжечь бумаги, которые он отдал ей под сохранение».

Когда Рославлев перестал читать, товарищ его взял назад бумажку, разорвал на мелкие части и проглотил; потом бросился на постелю и в ту же самую секунду заснул мертвым сном.

Более трех часов сряду сидел Рославлев подле спящего, который несколько раз принимался бредить. Рославлев не будил его, но закрывал рукою рот и мешал явственно выговаривать слова. Вдруг послышались скорые шаги по коридору, который вел к их комнате. Рославлев начал будить своего товарища. После нескольких напрасных попыток ему удалось наконец растолкать его; он вскочил и закричал охриплым голосом по-русски: — Что; что такое? Французы? Режь их, разбойников! — Глаза его блистали, волосы стояли дыбом, и выражение лица его было так ужасно, что Рославлев невольно содрогнулся.

— Опомнитесь! что вы? — сказал он, — сюда идут!

— Сюда? Кто?.. Ах, да!.. — прошептал купец, проведя рукою по глазам.

— Нет, господин офицер! нет! — заговорил он вдруг громким голосом и по-французски, — я никогда не соглашусь с вами: война не всегда вредит коммерции; напротив, она дает ей нередко новую жизнь. Посмотрите, как англичане хлопчут о том, чтоб европейские государи ссорились меж собою! В одном месте жгут и разоряют фабрики, в другом они процветают. Товары становятся дороже, капиталы переходят из рук в руки; одним словом,

я не сомневаюсь, что вечный мир в Европе был бы столь же пагубен для коммерции, как и всегдашняя тишина на море, несмотря на то, что сильный ветер производит бури и топит корабли.

В продолжение этих слов лицо ложного купца приняло свой обыкновенный холодный вид, глаза не выражали никакого внутреннего волнения; казалось, он продолжал спокойно давно начатый разговор; и когда двери комнаты отворились, он даже не повернул головы, чтоб взглянуть на входящего Шамбюра вместе с капитаном Рено.

— Вы свободны! — вскричал Шамбюр, подбежав к Рославлеву, — я доказал Раппу, что он не имеет никакого права поступать таким обидным образом с человеком, за честь которого я ручаюсь моей собственной честью.

— Благодарю вас, — сказал Рославлев, — впрочем, вы можете быть совершенно спокойны, Шамбюр! Я не обещаю вам не радоваться, если узнаю что-нибудь о победах нашего войска; но вот вам честное мое слово: не стану никому пересказывать того, что услышу от других.

— Более этого я от вас и требовать не могу, — сказал Шамбюр.

— А! господин Дольчини! — продолжил он, обращаясь к товарищу Рославлева, — и вы здесь?

— Да, сударь! Обо мне, кажется, всё еще думают; что я русской... Русской! Боже мой! да меня от одного этого имени мороз подирает по коже! Господин Дерикур хитер на выдумки; я боюсь, чтоб ему не вздумалось для испытания, точно ли я русской или итальянец, посадить меня на ледник. Вперед вам говорю, что я в четверть часа замерзну.

— Ага, господин Дольчини! — вскричал с громким хохотом Шамбюр, — так есть же что-нибудь в природе, чего вы боитесь?

— Хорошо, что вы не делали русскую кампанию, — подхватил Рено. — Представьте себе, что когда у нас от жестокого мороза текли слезы, то они замерзали на щеках, а глаза слипались от холода!

— *Santa Maria!* (Святая Мария! (ит.)) Что вы говорите? Знаете ли, что наш Данте в своей «*Divina comedia*» («Божественной комедии» (ит.)), описывая разнородные мучения ада, в числе самых ужаснейших полагает именно то, о котором вы говорите. И в этой земле живут люди!

— И даже очень любезные, — перервал Шамбюр, подавая левую руку Рославлеву. — Пойдемте, Волдемар; вы уж и так слишком долго здесь сидели.

— Прощайте, господин офицер! — сказал Дольчини Рославлеву, — не забудьте вашего обещания. Если когда-нибудь вам случится быть в Лейпциге, то вы можете обо мне

справиться на площади против театра, в высоком красном доме, у живущего под номером шестым. До свиданья!

Шамбюр и Рославлев вышли из тюрьмы.

— Знаете ли, — сказал французской партизан, — какой необыкновенный человек был вашим товарищем? Не понимаю, как мог этот Дольчини изменить до такой степени своему назначению? Во всю жизнь мою я не видывал человека бесстрашнее этого купца. Поверите ли, что я, Шамбюр, основатель и начальник адской роты, должен уступить ему первенство, если не в храбрости, то, по крайней мере, в хладнокровии. Он точно с таким же равнодушием смотрит на бомбу, которая крутится у ног его, с каким мы глядим на волчок, спущенный рукою слабого ребенка. А если б вы знали, какой он оригинал? Я предлагал ему место старшего сержанта в моей роте в ту самую минуту, как он стоял добровольно под градом неприятельских ядер; он решительно отказался, и именно потому, что он отец семейства и должен беречь жизнь свою. *Avouez que c'est deliceux!* (Согласитесь, это прелестно! (фр.)) Но вот ваша квартира. Я думаю, вы сегодня не расположены прогуливаться. Ступайте домой; а мне надобно взглянуть на мою роту. Может быть, сегодня ночью я побываю вместе с нею за городом.

— От всей души желаю, — сказал Рославлев, принимаясь за дверную скобу, — чтоб вы...

— Чтоб я наконец сломил себе шею? — перервал с улыбкою Шамбюр.

— Нет, чтоб вас оставили погостить подолее в нашем лагере.

— Покорно благодарю! Я люблю сам угощать; и если завтра поутру вы не будете пить у меня кофей, то можете быть уверены, что я остался на вечное жительство в ваших траншеях.

ГЛАВА VII

На другой день, часу в девятом утра, Шамбюр, допивая свою чашку кофею, сказал с принужденною улыбкою Рославлеву:

— Ну, вот видите! желание ваше не сбылось: я не остался гостить в русском лагере.

— Но, кажется, не привели и гостей с собою, — отвечал Рославлев. — Если правда, что мне говорили, то ваша рота...

— Да! ее надобно укомплектовать, — перервал Шамбюр, и что-то похожее на грусть изобразилось на лице его.

— Черт возьми! — продолжал он, — как эти русские стали осторожны! Из ста пятидесяти человек только тридцать воротились со мною; но зато все эти тридцать солдат — герои... да, герои! Бедный Леклер!.. Вы знали этого героя, этого Баярда моей роты? Его убили подле меня! Видите ли эти пятна на груди моей? Это его кровь! Но вы расплатитесь со

мною, господа русские! Его похороны будут дорого вам стоить!.. Клянусь этим кинжалом, что целая сотня русских...

— Не угодно ли вам начать с меня? — перервал, улыбаясь, Рославлев. Шамбюр засмеялся.

— Нет! — сказал он, — я никогда не нарушал прав гостеприимства; но не советую и вам встретиться со мною в русских траншеях. Я вас люблю, а непременно зарежу, если вы вздумаете со мною церемониться и не постараетесь меня предупредить. Ну, что вы намерены теперь делать?

— Я пойду гулять.

— А я отправлюсь к Раппу. Мне сказывали, что у него сегодня военный совет; и хотя я не приглашен, но это все равно: где толкуют о военных действиях, там Шамбюр лишним быть не может. Прощайте!

Шамбюр и Рославлев вышли из дома в одно время; первый пустился скорым шагом к квартире генерала Раппа, а последний отправился на Театральную площадь. Рославлев тотчас узнал красный дом, о котором говорил ему накануне Дольчини. Взойдя в пятый этаж, который у нас в России называли бы просто чердаком, он увидел на низенькой двери прибитую дощечку с номером шестым. Дверь была только притворена. Рославлев должен был согнуться, чтоб взойти в небольшую переднюю комнату, которая в то же время служила кухнею; подле очага, на котором курился догорающий торф, сидела старуха лет пятидесяти, довольно опрятно одетая, но худая и бледная как тень.

— Что угодно господину? — спросила она, увидя входящего Рославлева.

— Я прислан от господина Дольчини, — ответил Рославлев.

— От господина Дольчини! — повторила радостным голосом старуха, вскочив со стула.

— Итак, господь бог не совсем еще нас покинул!.. Сударыня, сударыня!.. — продолжала она, оборотясь к перегородке, которая отделяла другую комнату от кухни. — Слава богу! Господин Дольчини прислал к вам своего приятеля. Войдите, сударь, к ней. Она очень слаба; но ваше посещение, верно, ее обрадует.

Рославлеву нередко случалось видеть все, что нищета заключает в себе ужасного: он не раз посещал убогую хижину бедного; но никогда грудь его не волновалась таким горестным чувством, душа не тосковала так, как в ту минуту, когда, подходя к дверям другой комнаты, он услышал болезненный вздох, который, казалось, проник до глубины его сердца. В небольшой горенке, слабо освещенной одним слуховым окном, на постели с изорванным пологом лежала, оборотясь к стене, больная женщина; не перемежая положения, она сказала тихим, но довольно твердым голосом:

— Скажите, что сделалось с Дольчини? Скоро ли я его увижу?

Лихорадочная дрожь пробежала по всем членам Рославлева; он хотел что-то сказать, но



онемевший язык его не повиновался. Этот голос!.. эти знакомые звуки!.. Нет, нет! он не желал, не смел верить...

— Бога ради, скажите скорее, — продолжала больная, повернувшись лицом к Рославлеву, — скоро ли я его увижу?

— Полина!.. — вскричал Рославлев. Больная содрогнулась; приподнялась до половины и, устремив свой полумертвый взгляд на Рославлева, повторила:

— Полина!.. Кто вы?.. Я почти ничего не вижу... Полина!.. Так называл меня лишь он... но его нет уже на свете... Ах!.. так называл меня еще... Боже мой, боже мой! О, господь правосуден! Я должна была его видеть, должна слышать его проклятия в последние мои минуты... это он!

— Полина! — вскричал Рославлев, схватив за руку больную, — так это я — друг твой! Но бога ради, успокойся! Несчастливая! я оплакивал тебя как умершую; но никогда — нет, никогда не проклинал моей Полины! И если бы твое земное счастье зависело от меня, то, клянусь тебе богом, мой друг, ты была бы счастлива везде... да, везде — даже в самой Франции, — прибавил тихим голосом Рославлев, и слезы его закапали на руку Полины, которую он прижимал к груди своей.

Больная молча смотрела на Рославлева; взоры ее понемногу оживлялись; вдруг они заблестали, легкой румянец пробежал по бледным щекам ее; она схватила руку Рославлева и покрыла ее поцелуями.

— Итак, я могу умереть спокойно! — проговорила она, рыдая, — ты простил меня! Но ты должен проклинать... Ах, не проклинай и его, мой друг!.. его уж нет на свете... — Несчастливая!

— Но я скоро с ним увижусь — да, мой друг! — продолжала больная, понизив голос, — вот уж третью ночь, каждый раз, когда на городской башне пробьет полночь, он является вот здесь — у моего изголовья — и зовет меня к себе.

— Это один бред, Полина! Ты больна; твоё расстроенное воображение...

— Нет, нет! Это уж не в первый раз, мой друг! Он точно так же приходил и за моим сыном: они оба ждут меня.

— За твоим сыном?

— Да! у меня был сын. Ах, как я его любила, мой друг! Я называла его Волдемаром.

— И твой муж...

— Тс! тише! Бога ради, не называй его моим мужем: над тобой станут все смеяться. Что ты на меня так смотришь? Ты думаешь, что я брежу?.. О нет, мой друг! Послушай: я чувствую в себе довольно силы, чтоб рассказать тебе все.

— Нет, Полина! зачем вспоминать прошедшее. Бог милостив; здоровье твое поправится, ты возвратишься в отечество...

— В отечество? Но разве у меня есть отечество?.. Разве несчастная Полина не отказалась навсегда от своей родины?.. Разве найдется во всей России уголок, где б дали приют русской, вдове пленного француза?.. Отечество!.. О, если бы прошедшее было в нашей воле, я не стала бы тогда заботиться о моем спасении! С какою б радостью я обрекла себя на смерть, чтоб только умереть в моем отечестве. Безумная! я думала, что могу сказать ему: твой бог будет моим богом, твоя земля — моей землею. О нет, мой друг! кто покидает навсегда свою родину, тот рано или поздно, а умрет по ней с тоски... Но пока я еще могу — я должна тебе рассказать все.

— Зачем, Полина?..

— Ах, не мешай мне; это облегчит мою душу. Я хочу, чтоб ты знал, как я была наказана за мое вероломство. Ты читал письмо мое; ты знаешь, как он встретился опять со мною. Рука его была свободна, сердце принадлежало мне; ты сам прислал его в наш дом. Все это казалось мне волею самих небес; я думала, что не изменяю тебе, но покоряюсь только какому-то предопределению, от которого ничто не могло спасти меня, или, лучше сказать, я ничего не думала. Моя свадьба, первый шаг от алтаря, свадебный подарок, который ожидал меня у самого церковного порога... Ах, Рославлев! я едва не потеряла рассудок; но ты уехал; меня уверили, что горесть твоя уменьшилась, и я стала спокойнее. Скоро французы заняли нашу деревню. Муж мой сделался свободным, и мы отправились в Москву. Первый месяц прошел довольно спокойно. Сеникур любил меня. Ужасные бедствия моих сограждан, пожар Москвы, беспрестанные слухи о покорении всей России — все это казалось мне каким-то смутным, невнятным сновидением! Я жила только для него, видела одного его, и, точно так же, как человек в сильной горячке воображает себя здоровым, думала, что я счастлива. К концу месяца нрав моего мужа приметно изменился: он стал задумчив, беспокоен, иногда поглядывал на меня с состраданием, и когда я спрашивала о причине его грусти, он отвечал всякой раз: «Дела наши идут дурно». Поверишь ли, мой друг! до какой степени рассудок мой был ослеплен? Я не понимала даже настоящего смысла этих слов: мне казалось, что он говорит о России. Одним утром

он вбежал ко мне бледный, с отчаянием на лице. «Полина! — вскричал он, — наши дела идут час от часу хуже: Мюрат разбит!» — «Так что ж?» — спросила я, не понимая совершенно, какое участие я должна была принимать в судьбе Мюрата. Лицо Сеникура сделалось бледнее; помолчав несколько минут, он продолжал прерывающимся голосом: «Да, сударыня! мы погибли: русские торжествуют; но, извините! я имел глупость забыть на минуту, что вы русская». Вдруг как будто завеса спала с глаз моих. «Мы погибли! Русские торжествуют!» Эти слова раздавались беспрестанно в ушах моих. Праведный боже! Итак, с избавлением моего отечества неразлучна гибель того, кто был для меня всем на свете! Итак, в молитвах моих я должна была говорить перед господом: «Боже! спаси моего супруга и погуби Россию!»

Спустя несколько дней, в продолжение которых Сеникур почти не говорил со мною, он сказал мне одним утром: «Полина! через час меня уже в Москве не будет: отступление нашего войска не обещает ничего хорошего; я не хочу подвергать тебя опасности: ты можешь возвратиться к твоей матери, можешь даже навсегда остаться в России; ты свободна». Я не дала договорить ему. «Адольф! — вскричала я, — мое отечество там, где ты; я забыла его для тебя и должна терпеть все!.. Страдать, умереть вместе с тобою — вот одно, что может оправдать меня в собственных глазах моих». Адольф обнял меня с прежней нежностью, и я отправилась вслед за французским войском. Не стану рассказывать тебе, что я должна была переносить. Ах, мой друг! я не призывала смерти для того только, что не могла уже умереть одна. Голод, кучи мертвых тел, казаки — все это перемешалось в моей голове... Я помню только, что при переправе через какую-то реку моя карета и множество других остановились на одном берегу, а на другом дрались; вдруг позади нас началась стрельба, поднялся ужасный крик и вой; что-то поминутно свистело в воздухе; стекла моей кареты разлетелись вдребезги, и лошади попадали. Не знаю, долго ли это продолжалось; одно только я не забыла: я помню, что гусарской офицер, приятель Адольфа, выхватил меня из кареты, посадил перед собою на лошадь и вместе со мною кинулся в реку. Мне помнится также, что вода была очень холодна, что мы долго плыли, что огромные льдины беспрестанно отталкивали нас назад; наконец мы выбрались на другой берег и через несколько минут догнали французскую гвардию. Потом, кажется, меня везли в саниах, а там вдруг я очутилась в каком-то нерусском городе; из него мы проехали в другой, там в третий и наконец остановились в этом. Во все это время я была очень больна. Обо мне заботился все тот же гусарской офицер; но Адольфа я не видела. Долго скрывали от меня истину; наконец, когда и последний защитник мой занемог сильной горячкою и почувствовал приближение смерти, то объявил мне, что мужа моего нет уже на свете. Но к чему высчитывать тебе все мои несчастья? Я родила

сына. Приятель моего Адольфа умер, и мы вместе с бедным сиротою остались одни в целом мире. Пока у меня были деньги, я жила весьма уединенно, почти никуда не выходила и ни с кем не была знакома; но когда русские стали осаждать город, когда хлеб сделался вдесятеро дороже и все деньги мои вышли, я решилась прибегнуть к великодушию единоплеменников покойного моего мужа. Мне не отказывали в помощи; но я замечала, что жены французских чиновников и даже обывателей обходились со мною весьма холодно; а мужья их — с какою-то обидною ласкою, от которой я нередко плакала. Одним утром, когда у меня не оставалось уже хлеба, я вошла в дом, занимаемый французским генералом. Слуга пошел доложить обо мне его жене, и я через растворенную дверь могла ясно слышать разговор ее с другой дамою, которая была у нее в гостях. «Вдова полковника Сеникура! — вскричала хозяйка, выслушав слова слуги. — Какой вздор! Представьте себе, моя милая! — продолжала она, — это какая-то русская, которую граф Сеникур увез из Москвы. Она, конечно, жалка; но, признаюсь, я не могу видеть хладнокровно, с какою дерзостью каждая нищая старается нас обманывать. Весь город знает, что эта русская была просто любовницею Сеникура, и, несмотря на то, она смеет называть себя его женою! *Comme ces creatures sont impudentes!*» (Как бесстыдны эти твари! (фр.)). Боже мой!.. Я изменила тебе, оставила семью, отечество, пожертвовала всем, чтобы быть его женою, и меня называют его любовницею!.. О мой друг! у меня не было пристанища, мне нечем было накормить моего сына; но за минуту до этого я могла назваться счастливою!.. Без памяти, прижимая к груди плачущего ребенка, я выбежала на улицу. У ног моих текла река; но я не могла умереть: сын мой был еще жив! Не зная сама, что делаю, я вмешалась в толпу бедных жителей, которых французы выгоняли из Данцига. Когда я вышла из города, сердце мое несколько облегчилось. Нас выпроводили за французские аванпосты и сказали, что никого не пропустят назад в город. Вдали стояли русские часовые и разъезжали казаки. Вся толпа кинулась вперед; но к нам подскочил казак и объявил, что нас не велено пропускать на русскую сторону. Кругом меня поднялись громкие вопли и рыдания; я одна не плакала. Я видела русских и не жила уже с французами; но когда прошел весь день и вся ночь в тщетном ожидании, что нам позволят идти далее, когда сын мой ослабел до того, что перестал даже плакать, когда я напрасно прикладывала его к иссохшей груди моей, то чувство матери подавило все прочие; дитя мое умирало с голода, и я не могла помочь ему!..

Полина перестала говорить; щеки ее пылали; заметно было, что сильная горячка начинала свирепствовать в груди ее...

— Да, да!.. это точно было наяву, — продолжала она с ужасною улыбкою, — точно!.. Мое дитя при мне, на моих коленях умирало с голода! Кажется... да, вдруг закричали: «Русской

офицер!» «Русской! — подумала я, — о! верно, он накормит моего сына», — и бросилась вместе с другими к валу, по которому он ехал. Не понимаю сама, как могла я пробиться сквозь толпу, влезть на вал и упасть к ногам офицера, который, не слушая моих воплей, поскакал далее...

— Возможно ли? — вскричал с ужасом Рославлев, — это была ты, Полина? и я не узнал тебя!..

Больная остановилась, устремив дикой взор на Рославлева; она повторила: — Я не узнала тебя!.. Так это был ты, мой друг? Как я рада!.. Теперь ты не можешь ни в чем упрекать меня... Неправда ли, мы поравнялись с тобою?.. Ты также, покрытый кровью, лежал у ног моих — помнишь, когда я шла от венца с моим мужем?..

— Бога ради, Полина! — перервал Рославлев, — не говори об этом.

— Да, да! Ты прав, мой друг! Голова моя начинает кружиться... а я не все еще тебе рассказала... Кажется... точно!.. Я помню, что очутилась опять подле французских солдат; не знаю, как это случилось... помню только, что я просилась опять в город, что меня не пускали, что кто-то сказал подле меня, что я русская, что Дольчини был тут же вместе с французскими офицерами; он уговорил их пропустить меня; привел сюда, и если я еще не умерла с голода, то за это обязана ему... да, мой друг! я просила милостину для моего сына, а он умер... Дольчини сказал мне однажды... Но что это?.. тс! тише, мой друг, тише!.. Так точно — гром!

— Это не гром, Полина, — перервал Рославлев, — а сильная пушечная пальба...

— Нет, нет!.. это гром, — повторила с беспокойством больная. — Чувствуешь ли, как дрожит весь пол?..

Это всегда бывает за несколько минут перед его приходом... Ах, как время идет скоро! Вот уж и полночь!.. первый удар колокола!.. Ступай, мой друг, ступай!..

— Успокойся, Полина! ты ошибаешься...

— О, бога ради! оставь меня... еще... еще!.. Беги, мой друг, беги!.. Нет! я не могу, я не хочу вас видеть вместе. Это было бы ужасно... да, ужасно!.. Ступай, Рославлев, ступай!.. Прошу тебя, заклинаю!.. Полина хотела приподняться, но силы ей изменили, и она почти без чувств опустилась на свое изголовье. Рославлев вышел из ее комнаты и послал к ней старуху, сказав, что через несколько часов зайдет опять навестить больную. Сердце его было так растерзано, он так был расстроен этой неожиданной встречей, что когда вышел на улицу, то не заметил сначала необыкновенного движения в народе. В русских траншеях открыли новую батарею в самом близком расстоянии от города: двадцатичетырех фунтовые ядра с ужасным визгом прыгали по кровлям домов; камни, доски, черепицы сыпались, как град, на улицу; и все проходящие спешили укрыться по

домам. Не заботясь нимало о своей безопасности, Рославлев шел подле самых стен домов — вдруг один каменный отломок, оторванный ядром, ударил его в голову; кровь брызнула из нее ручьем, он зашатался и упал без памяти на мостовую.

ГЛАВА VIII

Более двух недель Рославлев был на краю могилы; несколько раз он приходил в себя и видел, как сквозь сон, то приятеля своего Шамбюра, то какого-то незнакомого человека, который перевязывал ему голову. Раза два ему казалось, что подле его постели сидит Дольчини; но все это представлялось ему в таком смешанном и неясном виде, что когда воспаление в мозгу, от которого он едва не умер, совершенно миновалось, то все прошедшее представилось ему каким-то длинным и беспорядочным сном. В ту самую минуту, как Рославлев старался припомнить, когда он лег спать, и изъяснить себе, отчего он спал так долго; вошел в комнату Шамбюр.

— Ах! как я рад, что вас вижу! — сказал Рославлев. — Растолкуйте мне, что со мной делается? Мне кажется, я спал несколько суток сряду.

— Так вы наконец проснулись? — перервал Шамбюр, садясь подле постели Рославлева.

Слава богу! Поглядите-ка на меня. Ну вот и глаза ваши совсем не те, и цвет лица гораздо лучше.

— Но отчего я так долго спал?

— Да, чуть было вы не заснули таким крепким сном, что не проснулись бы и тогда, если бы мы взорвали на воздух весь Данциг. Вспомните хорошенько — недели две тому назад...

— Две недели... постойте!..

— То есть на другой день, как вас выпустили из тюрьмы...

— Из тюрьмы... помню! точно; я был в тюрьме...

— Вы пошли прогуляться по городу — это было поутру; а около обеда вас нашли недалеко от Театральной площади, с проломленной головой и без памяти. Кажется, за это вы должны благодарить ваших соотечественников: они в этот день засыпали нас ядрами. И за что они рассердились на кровли бедных домов? Поверите ль, около театра не осталось почти ни одного чердака, который не был бы совсем исковеркан.

— Подле театра! — повторил Рославлев. — Постойте!.. Боже мой!.. мне помнится... так точно, против самого театра, красный дом..

— Красный дом? выше всех других?

— Да, да!

— Третьего дня, — продолжал спокойно Шамбюр, — досталось и ему от русских: на него упала бомба; впрочем, бед немного наделала — я сам ходил смотреть. Во всем доме никто

не ранен, и только убило одну больную женщину, которая и без того должна была скоро умереть.

— Больную женщину!..

— Да, мне сказывали, что она называла себя вдовою какого-то французского полковника; да это неправда... но что с вами делается?

— Несчастливая Полина! — вскричал Рославлев.

— Так вы были с ней знакомы? Ах! как досадно, что я не знал этого! Впрочем, много грустить нечего; я уж вам сказал, что она и без этого была при смерти; минутой прежде, минутой после...

— Да, Шамбюр, вы правы: кто знал эту несчастную, тот должен не горевать, а радоваться; но, несмотря на это, если б я мог воскресить ее...

— Да ведь это невозможно, так о чем же и хлопотать? К тому ж; если в самом деле она была вдовою французского полковника, то не могла не желать такого завидного конца — *etre coiffé d'une bombe* (погибнуть от бомбы (фр.)) или умереть глупым образом на своей постели — какая разница! Я помню, мне сказал однажды Дольчини... А кстати! Знаете ли, как одурачил нас всех этот господин флорентийской купец?..

— А что такое?..

— Да только: он вовсе не купец, не итальянец, а русской партизан.

— Что вы говорите!.. Итак, все открылось, и он?..

— Расстрелян, думаете вы? Вот то-то и беда, что нет. Вскоре после вас и его выпустили из тюрьмы, и в несколько дней этот Дольчини так поладил с генералом Дерикуром, что он поручил ему доставить Наполеону преважные депеши. Рено, который также с ним очень подружился, взялся выпроводить его за наши аванпосты. Когда они подошли к Лангфуртскому предместью, то господин Дольчини, в виду ваших казаков, распрощавшись очень вежливо с Рено, сказал ему: «Поблагодарите генерала Раппа за его ласку и доверенность; да не забудьте ему сказать, что я не итальянский купец Дольчини, а русской партизан...» Тут назвал он себя по имени, которое я никак не могу выговорить, хотя и тысячу раз его слышал. Бедный Рено простоял полчаса разиня рот на одном месте, и когда, возвратясь в Данциг, доложил об этом Раппу, то едва унес ноги: генерал взбесился; с Дерикуром чуть не сделалось удара, а толстый Папилью, вспомня, что он несколько раз дружески разговаривал с этим Дольчини, до того перепугался, что слег в постелью. Дом, в котором жил *sidevant* (здесь: мнимый (фр.)) итальянской купец, обшарили сверху донизу, пересмотрели все щелки, забрали все бумаги, и если б он накануне не отдал мне письма на ваше имя, то вряд ли бы оно дошло когда-нибудь по

адресу,

— Как! У вас есть ко мне письмо?

— Да, есть. И хотя по-настоящему мне как партизану должно перехватывать всякую неприятельскую переписку, — примолвил с улыбкою Шамбюр, — но я обещался доставить это письмо, я Шамбюр во всю жизнь не изменял своему слову. Вот оно: читайте на просторе. Мне надобно теперь отправиться к генералу Раппу: у него, кажется, будут толковать о сдаче Данцига; но мы еще увидим, кто кого перекричит. Прощайте! Рославлев не отвечал ни слова; все внимание его было устремлено на адрес письма, написанный рукою, которая некогда была ему так знакома и мила. Он распечатал пакет; первый предмет, поразивший его взоры, был локон светло-русых волос. Рославлев прижал его к губам своим. «Бедная Полина! — сказал он, всхлипывая, — вот все, что от тебя осталось!»

Когда душа его несколько поуспокоилась, он начал читать следующее: «Друг мой! Дольчини сказал мне, что ты болен и не можешь меня видеть. Итак, я умру, не простясь с тобою! Я не думаю дожить до будущего утра. Выслушай последнее мое желание. Сестра моя тебя любит — да, мой друг! Оленька любит тебя так же пламенно, как я люблю его... Ах! для чего не она была твоей невестою? Тогда я была бы одна несчастлива! Друг мой! она достойна быть твоей женою — твоей женою! О, эта мысль так утешительна! Когда-нибудь и ты переселишься в тот мир, в котором мы отдохнем от наших земных бедствий! Тогда и я могла бы видеть его и тебя вместе — любить в одно время; ты был бы моим братом, Волдемар!.. Еще одна просьба: в этом письме ты получишь мои волосы. Прошу тебя, мой друг! зарой их под самой той черемухой, где некогда твоя доброта и великодушие едва не изгладили его из моего сердца. Может быть, ты назовешь меня мечтательницей, сумасшедшей — о мой друг! если б ты знал, как горько умирать на чужой стороне! Пусть хоть что-нибудь мое истлеет в земле русской. Прощай, Волдемар! Я боюсь, что проживу долее, чем думаю; русские ядра летают беспрестанно мимо, и ни одно из них не прекратит моих страданий! Ах! я почла бы это не местию, но знаком примирения, и умерла бы с радостью. Прощай, мой друг!..»

Рославлев едва мог дочитать письмо: все прошедшее оживилось в его памяти. «Бедная Полина! несчастная Полина!.. — повторил он, рыдая. — О! как сердце твое умело любить! Да, я свято исполню твои последние желания — я буду твоим братом... Но если Оленька принадлежит уже другому? Если Полина принимала любимые мечты свои за истину? Если сестра ее чувствует ко мне одну только дружбу...» Тут вспомнил Рославлев невольное восклицание, которое вырвалось из уст Оленьки, когда ему удалось спасти ее от смерти. Да!.. в этом порыве благодарности было что-то более простой, обыкновенной

дружбы... но кто желал с таким нетерпением, чтоб он женился на Полине? Кто употреблял все способы, чтоб склонить ее к этому браку?.. Рославлев терялся в своих догадках? он не знал, к чему способно сердце женщины, истинно доброй и чувствительной. Каких жертв не принесет она, чтобы видеть счастливым того, кого любит? Может быть, мы умеем сильнее чувствовать, но мы слишком много рассуждаем, слишком положительны, везде ищем здравого смысла и можем быть подчас больны чужим здоровьем (Выражение одного русского поэта. — Прим. автора.); но очень редко бываем счастливы благополучием других. Любить всю жизнь, без всякой надежды; наслаждаться не своим счастьем, но счастьем того, кого выбрало наше сердце; любить с таким самоотвержением — о, это умеют одни только женщины!.. и если эта бескорыстная, неземная любовь бывает иногда недоступна, то, по крайней мере, она всегда понятна для души каждой женщины. Рославлев несколько раз перечитывал письмо; каждое слово, начертанное рукою умирающей Полины, возбуждало в душе его тысячу противоположных чувств. Он попеременно то решался выполнить ее волю, то вечно не принадлежать никому. Иногда образ кроткой, доброй Оленьки являлся ему в самом пленительном виде; но в то же время покрытое смертною бледностию лицо Полины представлялось его расстроенному воображению, и мысль о будущем счастье вливалась беспрестанно с воспоминанием, раздирающий его душу. Приход Шамбюра перервал его размышления; он вбежал в комнату, как бешеный, и сказал прерывающимся голосом:

— Прощайте, Рославлев! — я сейчас иду вон из города.

— С вашей ротою? — спросил Рославлев.

— Нет, один.

— Одни? Что ж вы хотите делать?

— Дезертировать.

— Дезертировать! — повторил с удивлением Рославлев.

— Да! mille tonnerres! Я не хочу ни минуты остаться с этими трусами, с этими подлецами, с этими... Представьте себе! Я сейчас из военного совета: весь гарнизон сдается военнопленным.

— В самом деле! — вскричал с радостью Рославлев.

— Да, сударь, да! И как вы думаете, отчего? — оттого, что у нас осталось на один только день провианта — les misérables! Но разве у нас нет оружия? Разве восемнадцать тысяч французов не могут очистить себе везде дорогу и пробиться, если надобно, до самого центра земли?.. Мнения моего никто не спрашивал; но когда я услышал, что генерал Рапп соглашается подписать эту постыдную капитуляцию, то встал с своего места. Мерзавец Дерикур хотел было помешать мне говорить... но, черт возьми! Я закричал так, что он

поневоле прикусил язык. «Господа! — сказал я, — если мы точно французы, то вот что должны сделать: отвергнуть с презрением обидное предложение неприятеля, Подорвать все данцигские укрепления, свернуть войско в одну густую колонну, ударить в неприятеля, смять его, идти на Гамбург и соединиться с маршалом Даву». — «Но, — возразил Дерикур, — осаждающие вдвое нас сильнее». — «Что нужды! — отвечал я, — они не французы!» — «Мы окружены врагами, — прибавил Рапп, — вся Пруссия восстала против Наполеона». — «Какое дело! — закричал я, — мы пойдем вперед; при виде победоносных орлов наших все побегут; мы раздавим русской осадный корпус, сожжем Берлин, истребим прусскую армию...» — «Он сумасшедший!» — закричали все генералы. «Молчите или ступайте вон!» — заревел Рапп. «О! если так, черт возьми! — отвечал я весьма спокойно, — я пойду — да! cent mille diables! я пойду; но только не домой, а в неприятельской лагерь. Пусть, кто хочет, сдастся военнопленным, пусть проходит парадом мимо этих скифских орд и кладет оружие к ногам тех самых солдат, которых я заставлял трепетать с одной моей ротой! Что ж касается до меня, то объявляю здесь при всех, что не служу более и сей же час перехожу к неприятелю». — «Убирайтесь хоть к черту! Только ступайте вон», — сказал Рапп. Я посмотрел на него с сожалением, бросил презрительный взгляд на толпу трусов, его окружающих, и побежал проститься с вами. Впрочем, надеюсь, мы скоро увидимся: если капитуляция подписана, то вы свободны и найдете меня в своем лагере. Прощайте!

В самом деле, когда через несколько дней Рославлев выехал из города, то повстречался с Шамбюром на наших аванпостах; они обнялись как старинные приятели. Дежурным по аванпостам был Зарядьев. Он очень обрадовался, увидя Рославлева.

— Ну, братец! — сказал он, — мы было отчаялись тебя и видеть! Как ты похудел!.. Да полно, отцепись от этого француза! Поди-ка сюда!..

— Что, Зарядьев? — перервал Рославлев с улыбкою, — видно, ты еще не забыл, как он пугнул тебя на Нерунге?

— Пугнул!.. Эка фигура! — подкрался втихомолку; а как моя рота выстроилась да пошла катать, так и давай бог ноги! Что за офицер? дрянь! Прежде был разбойником, а теперь беглый.

— Ну что, как вы с ним ладите?

— С ним? Да не приведи господи! Этот Шамбюр надоел нам всем как горькая редька — этакой безрукой черт! покою нет! Лепечет, шумит, кричит с утра до вечера. До него дошел слух, что в Данциге все его пожитки продали с публичного торга — да и как иначе? Ведь он дезертер. Что ж ты думаешь? Рвется теперь опять в Данциг — пусти его, да и только! Хочет там всех приколотить до смерти! Эх! не умеют с ним справиться! Дали бы мне его

недельки на две, так я бы его вышколил! У меня б он не сошел с палочного караула; а чуть забурлил, так на хлеб, на воду. Небось стал бы шелковой!

Через неделю Рославлев совсем выздоровел, и когда наступил день сдачи крепости, то он отправился вместе со всем штабом вслед за главнокомандующим к Оливским воротам, которыми должны были выходить из Данцига военнопленные французы. Шестнадцать тысяч наших и прусских войск были поставлены в две линии, вдоль по гласису Гагельсбергских укреплений. Сперва явился, в зеленой бархатной шубе, надетой сверх богатого мундира, генерал Рапп; на лице его изображалась глубокая горесть. Этот храбрый воин Наполеона, один из героев Аустерлицкого сражения, в первый раз еще преклонял отягченную лаврами главу свою перед мечом победителя. Вскоре показались французские колонны; наблюдая глубокое молчание, они проходили дивизиями посреди наших линий. Рославлев не мог без сердечного соболезнования глядеть на этих бесстрашных воинов, когда при звуке полковой музыки, пройдя церемониальным маршем мимо наших войск, они снимали с себя всё оружие и с поникшими глазами продолжали идти далее. Многие из французских офицеров плакали; другие, стараясь показывать совершенное равнодушие, курили трубки, идя перед своими взводами. Это последнее обстоятельство не укрылось от зорких глаз капитана Зарядьева. Когда кончилось сие торжественное шествие, напоминающее блестящие похороны знаменитого военачальника, которому у самой могилы отдадут в последний раз все военные почести, наш строгий ротный командир подошел к Рославлеву и спросил его: как ему кажется, хорошо ли прошли церемониальным маршем французы?

— Я, право, этого не заметил, — отвечал Рославлев.

— Так я тебе скажу: они понятия не имеют о фрунтовой службе. Все взводы заваливали, замыкающие шли по флангам, а что всего хуже — заметил ли ты двух взводных начальников, которые во фрунте курили трубки? Ну, братец! Я думал всегда, что они вольница, — да уж это из рук вон!..

— Эх, Зарядьев! до того ли им, чтоб думать о порядке? Посмотрел бы я на тебя, если бы ты должен был проходить мимо неприятеля церемониальным маршем для того, чтоб положить оружие?

— Оно конечно, братец, кто и говорит — обидно! Статься может, что и я не повел бы в ногу мою роту, а все-таки не стал бы курить трубки во фрунте — воля твоя, любезный... Как хочешь, а нехорошо: дурной пример для солдат.

Мы не станем описывать торжественного входа наших войск в Данциг (Он описан весьма подробно в книге под названием: «Записки касательно похода С.-П.бургского ополчения».

— Прим. автора.); не будем также говорить о следствиях этой колоссальной войны всей

Европы с французами. Кому неизвестны даже все мелкие происшествия этой чудной эпохи, ознаменованной падением величайшего военного гения нашего времени? Мы предупредим только читателей, что различные обстоятельства не допустили Рославлева увидеться с приятелем его Зарецким. Во вторую французскую кампанию полк, в котором служил этот последний, попал в число войск, которые должны были остаться до известного времени во Франции. В течение этого времени остальная часть армии возвратилась в Россию, и Рославлев вышел опять в отставку.

Несколько лет уже продолжался общий мир во всей Европе; торговля процветала, все народы казались спокойными, и Россия, забывая понемногу прошедшие бедствия, начинала уже пользоваться плодами своих побед и невероятных жертвований; мы отдохнули, и русские полуфранцузы появились снова в обществах, снова начали бредить Парижем и добиваться почетного названия — обезьян вертлявого народа, который продолжал кричать по-прежнему, что мы варвары, а французы первая нация в свете; вероятно, потому, что русские сами сожгли Москву, а Париж остался целым. В тысяче политических книжонок наперерыв доказывали, что мы никогда не были победителями, что за нас дрался холод, что французы нас всегда били, и благодаря нашему смирению и русскому обычаю — верить всему печатному, а особливо на французском языке — эти письменные ополчение против нашей военной славы начинали уже понемножку находить отголоски в гостиных комнатах большого света. Мы стали несколько постарее, поумнее; но все еще не смели ходить без помочей, которых концы держали в своих руках господа французы. Кажется, теперь благодаря бога мы вступили уже в юношеский возраст и начинаем чувствовать, что можем прожить и без этих наставников, которые не хотели даже никогда ни приласкать, ни похвалить своих покорных учеников, а всегда забавлялись на их счет, несмотря на то, что улучшение наших фабрик, быстрые успехи народной промышленности, незаметные только для тех, которые не хотят их видеть, все доказывает, что мы ученики довольно понятные. Теперь мы привыкаем любить свое, не стыдимся уже говорить по-русски, и мне даже не раз удавалось слышать (куда, подумаешь, времена переходчивы!) в самых блестящих дамских обществах целые фразы на русском языке без всякой примеси французского.

В 1818 году, ровно через шесть лет после нашествия французов, в один прекрасный майский вечер, в густой липовой роще, под тению ветвистой черёмухи, отдыхал после продолжительной прогулки с гостями: своими помещик села Утешина. За большим чайным столом сидела хозяйка, молодая, прекрасная женщина. В исполненных неизъяснимой любви голубых глазах ее, устремленных на двух прелестных малюток, которые играли на ковре, разостланном у ее ног, можно было ясно прочесть все счастье

доброй матери и нежной супруги. Муж ее, молодой человек лет тридцати, разговаривал с стариком, который, опираясь на трость с прекурьезным сердоликовым набалдашником, смотрел также не спуская глаз на детей. Их слушал, по-видимому, с большим вниманием, пожилой человек в сером ополченном кафтане с золотыми погончиками; немного поодаль, развалиясь на широкой дерновой скамье, курил из огромной пенковой трубки мужчина лет за сорок, высокой и дородной, в полевом кафтане и зеленом кожаном картузе. Подле самого стола, прислонясь спиной к дереву, стоял в форменном сюртуке кавалерийской штаб-офицер с веселым румяным лицом и видный собою; он перелистывал небольшую книжку и беспрестанно улыбался.

— Как хочешь, племянник, — сказал старик, приставив к дереву свою трость и вынимая из кармана резную табакерку из слоновой кости, — я не согласен с тобою: мне кажется, не сын походит на тебя, а дочь; а сын весь в матушку. Не правда ли, Оленька?

— Нет, дядюшка, — отвечала молодая женщина, — они оба походят на Волдемара.

— Так, так, сударыня! — продолжал старик, улыбаясь. — Как бишь у вас эта песня-то поется: Во всем я вижу образ твой?.. Да что это за новая игрушка у твоего Николеньки? Ба! ружье с штыком!

— Это подарок нашего доброго городничего.

— Зарядьева? Ну что, Ильменев, ты вчера был в городе — здоров ли он?

— Слава богу, батюшка Николай Степанович! — отвечал господин в ополченном кафтане, — здоров, да только в больших горях. Ему прислали из губернии, вдобавок к его инвалидной команде, таких уродов, что он не знает, что с ними и делать. Уж ставил, ставил их по ранжиру — никак не уладит! У этого левое плечо выше правого, у того одна нога короче другой, кривобокие да горбатые — ну срам взглянуть! Вчера, сердечный! пробился с ними все утро, да так и бросил.

— Полно читать, Зарецкой, — сказал хозяин, обращаясь к кавалеристу, который продолжал перелистывать книгу, — в первый день после шестилетней разлуки нам, кажется, есть о чем поговорить.

— Сейчас, mon cher, сейчас! Ты не можешь себе представить, какие забавные вещи я нашел в этой книжке. — Да что это такое? — «Guide des voyageurs», тысяча восемьсот семнадцатого года.

— А! книга для путешественников. Я вынул ее сегодня из шкала, чтобы посмотреть, сколько считается жителей в Лондоне. Да что ж ты нашел забавного в этой статистике?

— Кто ж виноват, если ты не читал в ней ни особенных замечаний, ни наставлений, например, как обращаться с русскими дамами... А! вот несколько слов о Москве... Ого!.. вот что! Ну, видно, мои друзья французы не отстанут никогда от старой привычки

мешаться в чужие дела. Послушай: Enfin Moscou renaît de sa cendre, grâce aux Français qui président à sa reconstruction (Наконец Москва возрождается из пепла благодаря французам, которые руководят ее восстановлением (фр.)).

— А по-нашему-то, сударь, что это значит, осмелюсь спросить? — сказал гость в полевом кафтане, приостановясь курить свою трубку. — Это значит, сударь, что по милости французов и под их надзором Москва начинает отстраиваться.

— Что, что, батюшка? по милости французов!.. Как так? и это тут написано? Ну, исполать этим французам!.. Ах они хвастунишки, черт их возьми! Да вот хоть мой дом на Пресне — что я, на их деньги, что ль, его выстроил?

— Может статься, — сказал хозяин, — сочинитель разумел под этим французских архитекторов?

— Французских? Да есть ли хоть один французский архитектор в Москве? Помилуйте, батюшка Владимир Сергеевич! мало ли у нас своих, доморощенных архитекторов? Что вы, сударь?

— Конечно, Буркин прав, — перервал старик, — да и на что нам иноземных архитекторов? Посмотрите на мой дом! Что, дурно, что ль, выстроен? А строил-то его не француз, не немец, а просто я, русской дворянин — Николай Степанович Ижорской. Покойница сестра, вот ее матушка — не тем будь помянута, — бредила французами. Ну что ж? И отдала строить свой московской дом какому-то приезжему мусью, а он как понаделал ей во всем доме каминов, так она в первую зиму чуть-чуть, бедняжка, совсем не замерзла.

— Действительно так, — примолвил Ильменев, — мало ли у нас своих архитекторов: и губернских, и уездных, и всяких других. Вот кабы, сударь, у нас развели также своих мусьюв да мадамов, а то ищешь, ищешь по всей Москве — цену ломают необъятную; а что будешь делать? Народ привозный, а ведь известное дело: и товар заморской дороже нашего.

— По милости французов... — повторял Буркин, вытряхая свою трубку. — Видишь, какие благодетели! Да врут они! Мы без них жгли Москву, так без них и выстроим.

— А что, Владимир? — спросил Зарецкой. — Москва в самом деле поправляется?

— Да, мой друг; но на каждом шагу заметны еще следы ужасного опустошения.

— Вспомнить не могу, — перервал Зарецкой, — в каком жалком виде была наша древняя столица, когда мы — помнишь, Рославлев, я — одетый французским офицером, а ты — московским мещанином — пробирались к Калужской заставе? помнишь ли, как ты, взглянув на окно одного дома?.. Виноват, мой друг! Я не должен бы был вспоминать тебе

об этом... Но уж если я проболтался, так скажи мне, что сделалось с этой несчастной?..
Где она теперь?

— Где она? — повторил Рославлев, взглянув печально на белый мраморный памятник, почти закрытый ветвями развесистой черемухи. На глазах Оленьки навернулись слезы, а старик Ижорской, опустив задумчиво голову, принялся чертить по песку своей тростью.

— Где она? — продолжал Рославлев. — Ах, Александр! Участь ее была почти предсказана. Шесть лет тому назад, в этот же самый час, в ту минуту, когда она на самом этом месте сказала мне: «Мы будем счастливы, да, друг мой, совершенно счастливы!» — сумасшедшая Федора...

Охрипый дикой смех перервал слова Рославлева. Густые ветви черемухи раздвинулись, из-за мраморной урны выглянуло худое, отвратительное лицо Федоры, и громкой хохот ее раздался по всему лесу.

Публикация подготовлена О.В. Поляковым.